

◆ ВСЕМИРНАЯ
ЛИТЕРАТУРА ◆

АНТОН
ЧЕХОВ



Дама с собачкой



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1я44
Ч-56

Оформлении серии *Натальи Ярусовой*

В коллаже на обложке использованы репродукции работ художников *Педера Северина Кройера* и *Джорджа Стаббса*

Чехов, Антон Павлович.

Ч-56 Дама с собачкой / Антон Чехов. — Москва : Эксмо, 2022. — 448 с. — (Всемирная литература (с картинкой)).


ISBN 978-5-04-122068-6

Основу тома избранных произведений Антона Павловича Чехова составляют рассказы и повести, входящие в современные школьные программы по литературе. Книга будет интересна и взрослым читателям, которые смогут вновь обратиться к изучавшимся некогда шедеврам и неожиданно ощутить их неувядающую художественную свежесть, глубину и мудрость мыслей автора, живое присутствие его героев — открыть новое в, казалось бы, знакомых строках.

УДК 821.161.1-82
ББК 84(2Рос=Рус)1я44

ISBN 978-5-04-122068-6

© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022



Рассказы и повести

ПИСЬМО К УЧЕНОМУ СОСЕДУ

Село Блины-Съедены

Дорогой Соседушка.

Максим... (забыл как по батюшке, извините великодушно!) Извините и простите меня старого старикашку и нелепую душу человеческую за то, что осмеливаюсь Вас беспокоить своим жалким письменным лепетом. Вот уж целый год прошел как Вы изволили поселиться в нашей части света по соседству со мной мелким человечиком, а я все еще не знаю Вас, а Вы меня стрекозу жалкую не знаете. Позвольте ж драгоценный соседушка хотя посредством сих старческих гиероглифоф познакомиться с Вами, пожать мысленно Вашу ученую руку и поздравить Вас с приездом из Санкт-Петербурга в наш недостойный материк, населенный мужиками и крестьянским народом т.е. плебейским элементом. Давно искал я случая познакомиться с Вами, жаждал, потому что наука в некотором роде мать наша родная, все одно как и цивилизация и потому что сердечно уважаю тех людей, знаменитое имя и звание которых увенчанное ореолом популярной славы, лаврами, кимвалами, орденами, лентами и аттестатами гремит как гром и молния по всем частям вселенного мира сего видимого и невидимого т.е. подлунного. Я пламенно люблю астрономов, поэтов, метафизиков, приват-доцентов, химиков и других жрецов науки, к которым Вы себя причисляете чрез свои умные факты и отрасли наук, т. е. продукты и плоды. Говорят, что вы много книг напечатали во время умственного сидения с трубами, градусниками и кучей заграничных книг с заманчивыми рисунками. Недавно заезжал в мои жалкие владения, в мои руины и развалины местный максимум понтифекс¹ отец Герасим и со свойственным ему фанатизмом бранил и порицал Ваши мысли и идеи касательно человеческого происхождения и других явлений мира ви-

¹ Верховный жрец (*лат.* pontifex maximus).

димого и восставал и горячился против Вашей умственной сферы и мыслительного горизонта покрытого светилами и аэроглитами. Я не согласен с о. Герасимом касательно Ваших умственных идей, потому что живу и питаюсь одной только наукой, которую Провидение дало роду человеческому для вырытия из недр мира видимого и невидимого драгоценных металлов, металоидов и бриллиантов, но все-таки простите меня, батюшка, насекомого еле видимого, если я осмелюсь опровергнуть по-стариковски некоторые Ваши идеи касательно естества природы. О. Герасим сообщил мне, что будто Вы сочинили сочинение, в котором изволили изложить не весьма существенные идеи на шот людей и их первородного состояния и допотопного бытия. Вы изволили сочинить что человек произошел от обезьянских племен маргышек орангуташек и т.п. Простите меня старичка, но я с Вами касательно этого важного пункта не согласен и могу Вам запятую поставить. Ибо, если бы человек, властитель мира, умнейшее из дыхательных существ, происходил от глупой и невежественной обезьяны то у него был бы хвост и дикий голос. Если бы мы происходили от обезьян, то нас теперь водили бы по городам Цыганы на показ и мы платили бы деньги за показ друга друга, танцуя по приказу Цыгана или сидя за решеткой в зверинце. Разве мы покрыты кругом шерстью? Разве мы не носим одеяний, коих лишены обезьяны? Разве мы любили бы и не презирали бы женщину, если бы от нее хоть немножко пахло бы обезьяной, которую мы каждый вторник видим у Предводителя Дворянства? Если бы наши прародители происходили от обезьян, то их не похоронили бы на христианском кладбище; мой прапрадед например Амвросий, живший во время оно в царстве Польском, был погребен не как обезьяна, а рядом с абатом католическим Иоакимом Шостаком, записки коего об умеренном климате и умеренном употреблении горячих напитков хранятся еще доселе у брата моего Ивана (Маиора). Абат значит католический поп. Известите меня неучка за то, что мешаюсь в Ваши ученые дела и толкую посвоему по старчески и навязываю вам свои дикообразные и какие-то аляповатые идеи, которые у ученых и цивилизованных людей скорей помещаются в животе чем в голове. Не могу умолчать и не терплю когда ученые неправильно мыслят в уме своем и не могу не возразить Вам. О. Герасим сообщил мне, что Вы неправильно мыслите об луне

т.е. об месяце, который заменяет нам солнце в часы мрака и темноты, когда люди спят, а Вы проводите электричество с места на место и фантазируете. Не смейтесь над стариком за то что так глупо пишу. Вы пишете, что на луне т.е. на месяце живут и обитают люди и племена. Этого не может быть никогда, потому что если бы люди жили на луне то заслоняли бы для нас магический и волшебный свет ее своими домами и тучными пастбищами. Без дождика люди не могут жить, а дождь идет вниз на землю, а не вверх на луну. Люди живя на луне падали бы вниз на землю, а этого не бывает. Нечистоты и помои сыпались бы на наш материк с населенной луны. Могут ли люди жить на луне, если она существует только ночью, а днем исчезает? И правительства не могут дозволить жить на луне, потому что на ней по причине далекого расстояния и недостижимости ее можно укрываться от повинностей очень легко. Вы немножко ошиблись. Вы сочинили и напечатали в своем умном сочинении, как сказал мне о. Герасим, что будто бы на самом величайшем светиле, на солнце, есть черные пятнушки. Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Как Вы могли видеть на солнце пятна, если на солнце нельзя глядеть простыми человеческими глазами, и для чего на нем пятна, если и без них можно обойтись? Из какого мокрого тела сделаны эти самые пятна, если они не сгорают? Может быть, по-вашему и рыбы живут на солнце? Извените меня дурмана ядовитого, что так глупо съострил! Ужасно я предан науке! Рубль сей парус девятнадцатого столетия для меня не имеет никакой цены, наука его затемнила у моих глаз своими дальнейшими крылами. Всякое открытие терзает меня как гвоздик в спине. Хотя я невежда и старосветский помещик, а все же таки негодник старый занимаюсь наукой и открытиями, которые собственными руками произвожу и наполняю свою нелепую головешку, свой дикий череп мыслями и комплектом величайших знаний. Матушка природа есть книга, которую надо читать и видеть. Я много произвел открытий своим собственным умом, таких открытий, каких еще ни один реформатор не изобретал. Скажу без хвастовства, что я не из последних касательно образованности, добытой мозолями, а не богатством родителей т.е. отца и матери или опекунов, которые часто губят детей своих посредством богатства, роскоши и шестиэтажных жилищ с невольниками и электрическими позвонками. Вот

что мой грошовый ум открыл. Я открыл, что наша великая огненная лучистая хламида солнце в день Св. Пасхи рано утром занимательно и живописно играет разноцветными цветами и производит своим чудным мерцанием игривое впечатление. Другое открытие. Отчего зимою день короткий, а ночь длинная, а летом наоборот? День зимою оттого короткий, что подобно всем прочим предметам видимым и невидимым от холода сжимается и оттого, что солнце рано заходит, а ночь от возжения светильников и фонарей расширяется, ибо согревается. Потом я открыл еще, что собаки весной траву кушают подобно овцам и что кофей для полнокровных людей вреден, потому что производит в голове головокружение, а в глазах мутный вид и тому подобное прочее. Много я сделал открытий и кроме этого хотя и не имею аттестатов и свидетельств. Приезжайте ко мне дорогой соседушко, ей-богу. Откроем что-нибудь вместе, литературой займемся и Вы меня поганенького вычислениям различным поучите.

Я недавно читал у одного Французского ученого, что львиная морда совсем не похожа на человеческий лик, как думают ученые. И насшот этого мы поговорим. Приезжайте, сделайте милость. Приезжайте хоть завтра например. Мы теперь постное едим, но для Вас будим готовить скоромное. Дочь моя Наташенька просила Вас, чтоб Вы с собой какие-нибудь умные книги привезли. Она у меня эманципе, все у ней дураки, только она одна умная. Молодеж теперь я Вам скажу дает себя знать. Дай им бог! Через неделю ко мне прибудет брат мой Иван (Маиор), человек хороший но между нами сказать, Бурбон и наук не любит. Это письмо должен Вам доставить мой ключник Трофим ровно в 8 часов вечера. Если же привезет его позже, то побейте его по щекам, по профессорски, нечего с этим племенем церемонится. Если доставит позже, то значит в кабак анафема заходил. Обычай ездить к соседям не нами выдуман не нами и окончится, а потому непременно приезжайте с машинками и книгами. Я бы сам к Вам поехал, да конфузлив очень и смелости не хватает. Извешите меня негодника за беспокойство.

Остаюсь уважающий Вас Войска Донского отставной урядник из дворян, ваш сосед

1880

Василий СЕМИ-БУЛАТОВ.

РАЗМАЗНЯ

На днях я пригласил к себе в кабинет гувернантку моих детей, Юлию Васильевну. Нужно было посчитаться.

— Садитесь, Юлия Васильевна! — сказал я ей. — Давайте посчитаемся. Вам, наверное, нужны деньги, а вы такая церемонная, что сами не спросите... Ну-с... Договорились мы с вами по тридцати рублей в месяц...

— По сорока...

— Нет, по тридцати... У меня записано... Я всегда платил гувернанткам по тридцати. Ну-с, прожили вы два месяца...

— Два месяца и пять дней...

— Ровно два месяца... У меня так записано. Следует вам, значит, шестьдесят рублей... Вычесть девять воскресений... вы ведь не занимались с Колей по воскресеньям, а гуляли только... да три праздника...

Юлия Васильевна вспыхнула и затеребила оборочку, но... ни слова!..

— Три праздника... Долой, следовательно, двенадцать рублей... Четыре дня Коля был болен и не было занятий... Вы занимались с одной только Варей... Три дня у вас болели зубы, и моя жена позволила вам не заниматься после обеда... Двенадцать и семь — девятнадцать. Вычесть... останется... гм... сорок один рубль... Верно?

Левый глаз Юлии Васильевны покраснел и наполнился влагой. Подбородок ее задрожал. Она нервно закашляла, зашморкалась, но — ни слова!..

— Под Новый год вы разбили чайную чашку с блюдечком. Долой два рубля... Чашка стоит дороже, она фамильная, но... бог с вами! Где наше не пропадало! Потом-с, по вашему недосмотру Коля полез на дерево и порвал себе сюртучок... Долой десять... Горничная тоже по вашему недосмотру украла у Вари ботинки. Вы должны за всем смотреть. Вы жалованье получаете. Итак, значит, долой еще пять... Десятого января вы взяли у меня десять рублей...

— Я не брала, — шепнула Юлия Васильевна.

— Но у меня записано!

— Ну, пусть... хорошо.

— Из сорока одного вычесть двадцать семь — останется четырнадцать...

Оба глаза наполнились слезами... На длинном хорошеньком носике выступил пот. Бедная девочка!

— Я раз только брала, — сказала она дрожащим голосом. — Я у вашей супруги взяла три рубля... Больше не брала...

— Да? Ишь ведь, а у меня и не записано! Долой из четырнадцати три, останется одиннадцать... Вот вам ваши деньги, милейшая! Три... три, три... один и один... Получите-с!

И я подал ей одиннадцать рублей... Она взяла и дрожащими пальчиками сунула их в карман.

— Мерсі, — прошептала она.

Я вскочил и заходил по комнате. Меня охватила злость.

— За что же мерсі? — спросил я.

— За деньги...

— Но ведь я же вас обобрал, черт возьми, ограбил! Ведь я украл у вас! За что же мерсі?

— В других местах мне и вовсе не давали...

— Не давали? И не мудрено! Я пошутил над вами, жестокий урок дал вам... Я отдам вам все ваши восемьдесят! Вон они в конверте для вас приготовлены! Но разве можно быть такой кислятиной? Отчего вы не протестуете? Чего молчите? Разве можно на этом свете не быть зубастой? Разве можно быть такой размазней?

Она кисло улыбнулась, и я прочел на ее лице: «Можно!»

Я попросил у нее прощения за жестокий урок и отдал ей, к великому ее удивлению, все восемьдесят. Она робко замерсикала и вышла... Я поглядел ей вслед и подумал: легко на этом свете быть сильным!

1883

СМЕРТЬ ЧИНОВНИКА

В один прекрасный вечер не менее прекрасный экзекутор, Иван Дмитрич Червяков, сидел во втором ряду кресел и глядел в бинокль на «Корневильские колокола». Он глядел и чувствовал себя на вершине блаженства. Но вдруг... В рассказах часто встречается это «но вдруг». Авторы правы: жизнь так полна внезапностей! Но вдруг лицо его поморщилось, глаза подкатились, дыхание остановилось... он отвел от глаз бинокль, нагнулся и.... апчхи!!! Чихнул, как видите. Чихать ни-

кому и нигде не возбраняется. Чихают и мужики, и полицей-мейстеры, и иногда даже и тайные советники. Все чихают. Червяков нисколько не сконфузился, утерся платочком и, как вежливый человек, поглядел вокруг себя: не беспокоили ли он кого-нибудь своим чиханьем? Но тут уж пришлось сконфузиться. Он увидел, что старичок, сидевший впереди него, в первом ряду кресел, старательно вытирал свою лысину и шею перчаткой и бормотал что-то. В старичке Червяков узнал статского генерала Брижжалова, служащего по ведомству путей сообщения.

«Я его обрызгал! — подумал Червяков. — Не мой начальник, чужой, но все-таки неловко. Извиниться надо».

Червяков кашлянул, подался туловищем вперед и зашептал генералу на ухо:

— Извините, ваше-ство, я вас обрызгал... я нечаянно...

— Ничего, ничего...

— Ради бога, извините. Я ведь... я не желал!

— Ах, сидите, пожалуйста! Дайте слушать!

Червяков сконфузился, глупо улыбнулся и начал смотреть на сцену. Глядел он, но уж блаженства больше не чувствовал. Его начало помучивать беспокойство. В антракте он подошел к Брижжалову, походил возле него и, поборовши робость, пробормотал:

— Я вас обрызгал, ваше-ство... Простите... Я ведь... не то чтобы...

— Ах, полноте... Я уж забыл, а вы все о том же! — сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней губой.

«Забыл, а у самого ехидство в глазах, — подумал Червяков, подозрительно поглядывая на генерала. — И говорить не хочет. Надо бы ему объяснить, что я вовсе не желал... что это закон природы, а то подумает, что я плюнуть хотел. Теперь не подумает, так после подумает!..»

Придя домой, Червяков рассказал жене о своем невежестве. Жена, как показалось ему, слишком легкомысленно отнеслась к происшедшему; она только испугалась, а потом, когда узнала, что Брижжалов «чужой», успокоилась.

— А все-таки ты сходи, извинись, — сказала она. — Подумает, что ты себя в публике держать не умеешь!

— То-то вот и есть! Я извинялся, да он как-то странно... Ни одного слова путного не сказал. Да и некогда было разговаривать.

На другой день Червяков надел новый вицмундир, подстригся и пошел к Брижжалову объяснить... Войдя в приемную генерала, он увидел там много просителей, а между просителями и самого генерала, который уже начал прием прошений. Опросив несколько просителей, генерал поднял глаза и на Червякова.

— Вчера в «Аркадии», ежели припомните, ваше-ство, — начал докладывать экзекутор, — я чихнул-с и... нечаянно обрызгал... Изв...

— Какие пустяки... Бог знает что! Вам что угодно? — обратился генерал к следующему просителю.

«Говорить не хочет! — подумал Червяков, бледнея. — Сердится, значит... Нет, этого нельзя так оставить... Я ему объясню...»

Когда генерал кончил беседу с последним просителем и направился во внутренние апартаменты, Червяков шагнул за ним и забормотал:

— Ваше-ство! Ежели я осмеливаюсь беспокоить ваше-ство, то именно из чувства, могу сказать, раскаяния!.. Не нарочно, сами изволите знать-с!

Генерал состроил плаксивое лицо и махнул рукой.

— Да вы просто смеетесь, милостисдарь! — сказал он, скрываясь за дверью.

«Какие же тут насмешки? — подумал Червяков. — Вовсе тут нет никаких насмешек! Генерал, а не может понять! Когда так, не стану же я больше извиняться перед этим фанфароном! Черт с ним! Напишу ему письмо, а ходить не стану! Ей-богу, не стану!»

Так думал Червяков, идя домой. Письма генералу он не написал. Думал, думал, и никак не выдумал этого письма. Пришлось на другой день идти самому объяснять.

— Я вчера приходил беспокоить ваше-ство, — забормотал он, когда генерал поднял на него вопрошающие глаза, — не для того, чтобы смеяться, как вы изволили сказать. Я извинялся за то, что, чихая, брызнул-с... а смеяться я и не думал. Смею ли я смеяться? Ежели мы будем смеяться, так никакого тогда, значит, и уважения к персонам... не будет...

— Пошел вон!! — гаркнул вдруг посиневший и затрясшийся генерал.

— Что-с? — спросил шепотом Червяков, мляя от ужаса.

— Пошел вон!! — повторил генерал, затопав ногами.

В животе у Червякова что-то оторвалось. Ничего не видя, ничего не слыша, он попятился к двери, вышел на улицу и поплелся... Придя машинально домой, не снимая вицмундира, он лег на диван и... помер.

1883

ДОЧЬ АЛЬБИОНА

К дому помещика Грябова подкатила прекрасная коляска с каучуковыми шинами, толстым кучером и бархатным сиденьем. Из коляски выскочил уездный предводитель дворянства Федор Андреич Отцов. В передней встретил его сонный лакей.

— Господа дома? — спросил предводитель.

— Никак нет-с. Барыня с детьми в гости поехали, а барин с мамзелью-гувернанткой рыбу ловят-с. С самого утра-с.

Отцов постоял, подумал и пошел к реке искать Грябова. Нашел он его версты за две от дома, подойдя к реке. Поглядев вниз с крутого берега и увидев Грябова, Отцов прыснул... Грябов, большой, толстый человек с очень большой головой, сидел на песочке, поджав под себя по-турецки ноги, и удил. Шляпа у него была на затылке, галстук сполз набок. Возле него стояла высокая, тонкая англичанка с выпуклыми рачьиими глазами и большим птичьим носом, похожим скорей на крючок, чем на нос. Одета она была в белое кисейное платье, сквозь которое сильно просвечивали тощие, желтые плечи. На золотом поясе висели золотые часики. Она тоже удила. Вокруг обоих царила гробовая тишина. Оба были неподвижны, как река, на которой плавали их поплавки.

— Охота смертная, да участь горькая! — засмеялся Отцов. — Здравствуй, Иван Кузьмич!

— А... это ты? — спросил Грябов, не отрывая глаз от воды. — Приехал?

— Как видишь... А ты все еще своей ерундой занимаешься! Не отвек еще?

— Кой черт... Весь день ловлю, с утра... Плохо что-то сегодня ловится. Ничего не поймал ни я, ни эта кикимора. Сидим, сидим, и хоть бы один черт! Просто хоть караул кричи.

— А ты наплюй. Пойдем водку пить!

— Постой... Может быть, что-нибудь да поймаем. Под вечер рыба клюет лучше... Сижу, брат, здесь с самого утра! Такая скучища, что и выразить тебе не могу. Дернул же меня черт привыкнуть к этой ловле! Знаю, что чепуха, а сижу! Сижу, как подлец какой-нибудь, как каторжный, и на воду гляжу, как дурак какой-нибудь! На покос надо ехать, а я рыбу ловлю. Вчера в Хапоньеве преосвященный служил, а я не поехал, здесь просидел вот с этой стерлядью... с чертовкой с этой...

— Но... ты с ума сошел? — спросил Отцов, конфузливо косясь на англичанку. — Бранишься при даме... и ее же...

— Да черт с ней! Все одно, ни бельмеса по-русски не смыслит. Ты ее хоть хвали, хоть брани — ей все равно! Ты на нос посмотри! От одного носа в обморок упадешь! Сидим по целым дням вместе, и хоть бы одно слово! Стоит, как чучело, и бельмы на воду тарасит.

Англичанка зевнула, переменила червячка и закинула удочку.

— Удивляюсь, брат, я немало! — продолжал Грябов. — Живет дурища в России десять лет, и хоть бы одно слово по-русски!.. Наш какой-нибудь аристократишка поедет к ним и живо по-ихнему брехать научится, а они... черт их знает! Ты посмотри на нос! На нос ты посмотри!

— Ну, перестань... Неловко... Что напал на женщину?

— Она не женщина, а девица... О женихах, небось, мечтает, чертова кукла. И пахнет от нее какою-то гнилью... Возненавидел, брат, ее! Видеть равнодушно не могу! Как взглянет на меня своими глазищами, так меня и покоробит всего, словно я локтем о перила ударился. Тоже любит рыбу ловить. Погляди: ловит и священнодействует! С презрением на все смотрит... Стоит, каналья, и сознает, что она человек и что, стало быть, она царь природы. А знаешь, как ее зовут? Уилька Чарльзовна Тфайс! Тьфу!.. и не выговоришь!

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Грябова и измерила его презрительным взглядом.

С Грябова подняла она глаза на Отцова и его облила презрением. И все это молча, важно и медленно.

— Видал? — спросил Грябов, хохоча. — Натe, мол, вам! Ах ты, кикимора! Для детей только и держу этого тритона. Не будь детей, я бы ее и за десять верст к своему имению не подпустил... Нос точно у ястреба... А талия? Эта кукла напоминает мне длинный гвоздь. Так, знаешь, взял бы и в землю вбил. Пстой... У меня, кажется, клюет...

Грябов вскочил и поднял удилище. Леска натянулась... Грябов дернул еще раз и не вытащил крючка.

— Зацепилась! — сказал он и поморщился. — За камень, должно быть... Черт возьми...

На лице у Грябова выразилось страдание. Вздыхая, беспокойно двигаясь и бормоча проклятья, он начал дергать за лесу. Дерганье ни к чему не привело. Грябов побледнел.

— Экая жалость! В воду лезть надо.

— Да ты брось!

— Нельзя... Под вечер хорошо ловится... Ведь этакая комиссия, прости господи! Придется лезть в воду. Придется! А если бы ты знал, как мне не хочется раздеваться! Англичанку-то турнуть надо... При ней неловко раздеваться. Все-таки ведь дама!

Грябов сбросил шляпу и галстук.

— Мисс... эээ... — обратился он к англичанке. — Мисс Тфайс! Же ву при!... Ну, как ей сказать? Ну, как тебе сказать, чтобы ты поняла? Послушайте... туда! Туда уходите! Слышишь?

Мисс Тфайс облила Грябова презрением и издала носовой звук.

— Что-с? Не понимаете? Ступай, тебе говорят, отсюда! Мне раздеваться нужно, чертова кукла! Туда ступай! Туда!

Грябов дернул мисс за рукав, указал ей на кусты и присел: ступай, мол, за кусты и спрячься там... Англичанка, энергически двигая бровями, быстро проговорила длинную английскую фразу. Помещики прыснули.

— Первый раз в жизни ее голос слышу... Нечего сказать, голосок! Не понимает! Ну, что мне делать с ней?

— Плюнь! Пойдем водки выпьем!

¹ Я прошу вас (*франц.* Je vous prie).

— Нельзя, теперь ловиться должно... Вечер... Ну, что ты прикажешь делать? Вот комиссия! Придется при ней раздеваться...

Грябов сбросил сюртук и жилет и сел на песок снимать сапоги.

— Послушай, Иван Кузьмич, — сказал предводитель, хоча в кулак. — Это уж, друг мой, глумление, издевательство.

— Ее никто не просит не понимать! Это наука им, иностранцам!

Грябов снял сапоги, панталоны, сбросил с себя белье и очутился в костюме Адама. Отцов ухватился за живот. Он покраснел и от смеха и от конфуза. Англичанка задвигала бровями и заморгала глазами... По желтому лицу ее пробежала надменная, презрительная улыбка.

— Надо остынуть, — сказал Грябов, хлопая себя по бедрам. — Скажи на милость, Федор Андреич, отчего это у меня каждое лето сыпь на груди бывает?

— Да полезай скорей в воду или прикройся чем-нибудь! Скотина!

— И хоть бы сконфузилась, подлая! — сказал Грябов, полезая в воду и крестясь. — Брр... холодная вода... Посмотри, как бровями двигает! Не уходит... Выше толпы стоит! Хе-хе-хе... И за людей нас не считает!

Войдя по колена в воду и вытянувшись во весь свой громадный рост, он мигнул глазом и сказал:

— Это, брат, ей не Англия!

Мисс Тфайс хладнокровно переменила червячка, зевнула и закинула удочку. Отцов отвернулся. Грябов отцепил крючок, окунулся и с сопеньем вылез из воды. Через две минуты он сидел уже на песочке и опять удил рыбу.

1883

ТОЛСТЫЙ И ТОНКИЙ

На вокзале Николаевской железной дороги встретились два приятеля: один толстый, другой тонкий. Толстый только что пообедал на вокзале, и губы его, подернутые маслом, лоснились, как спелые вишни. Пахло от него хересом и флерд'оранжем. Тонкий же только что вышел из вагона и был навьючен чемоданами, узлами и картонками. Пахло от него вет-

чиной и кофейной гущей. Из-за его спины выглядывала худенькая женщина с длинным подбородком — его жена, и высокий гимназист с прищуренным глазом — его сын.

— Порфирий! — воскликнул толстый, увидев тонкого. — Ты ли это? Голубчик мой! Сколько зим, сколько лет!

— Батюшки! — изумился тонкий. — Миша! Друг детства! Откуда ты взялся?

Приятели троекратно облобызались и устремили друг на друга глаза, полные слез. Оба были приятно ошеломлены.

— Милый мой! — начал тонкий после лобызания. — Вот не ожидал! Вот сюрприз! Ну, да погляди же на меня хорошенько! Такой же красавец, как и был! Такой же душонок и щеголь! Ах ты, господи! Ну, что же ты? Богат? Женат? Я уже женат, как видишь... Это вот моя жена, Луиза, урожденная Ванценбах... лютеранка... А это сын мой, Нафанаил, ученик III класса. Это, Нафаня, друг моего детства! В гимназии вместе учились!

Нафанаил немного подумал и снял шапку.

— В гимназии вместе учились! — продолжал тонкий. — Помнишь, как тебя дразнили? Тебя дразнили Геростратом за то, что ты казенную книжку папироской прожег, а меня Эфиальтом за то, что я ябедничать любил. Хо-хо... Детьми были! Не бойся, Нафаня! Подойди к нему поближе... А это моя жена, урожденная Ванценбах... лютеранка.

Нафанаил немного подумал и спрятался за спину отца.

— Ну, как живешь, друг? — спросил толстый, восторженно глядя на друга. — Служишь где? Дослужился?

— Служу, милый мой! Коллежским ассессором уже второй год и Станислава имею. Жалованье плохое... ну, да бог с ним! Жена уроки музыки дает, я портсигары приватно из дерева делаю. Отличные портсигары! По рублю за штуку продаю. Если кто берет десять штук и более, тому, понимаешь, уступка. Пробавляемся кое-как. Служил, знаешь, в департаменте, а теперь сюда переведен столоначальником по тому же ведомству... Здесь буду служить. Ну, а ты как? Небось, уже статский? А?

— Нет, милый мой, поднимай повыше, — сказал толстый. — Я уже до тайного дослужился... Две звезды имею.

Тонкий вдруг побледнел, окаменел, но скоро лицо его искривилось во все стороны широчайшей улыбкой; казалось,

что от лица и глаз его посыпались искры. Сам он съежился, сгорбился, сузился... Его чемоданы, узлы и картонки съежились, поморщились... Длинный подбородок жены стал еще длиннее; Нафанаил вытянулся во фрунт и застегнул все пуговицы своего мундира...

— Я, ваше превосходительство... Очень приятно-с! Друг, можно сказать, детства и вдруг вышли в такие вельможи-с! Хи-хи-с.

— Ну, полно! — поморщился толстый. — Для чего этот тон? Мы с тобой друзья детства — и к чему тут это чинопочитание!

— Помилуйте... Что вы-с... — захихикал тонкий, еще более съеживаясь. — Милостивое внимание вашего превосходительства... вроде как бы живительной влаги... Это вот, ваше превосходительство, сын мой Нафанаил... жена Луиза, лютеранка, некоторым образом...

Толстый хотел было возразить что-то, но на лице у тонкого было написано столько благоговения, сладости и почти-тельной кислоты, что тайного советника стошнило. Он отвернулся от тонкого и подал ему на прощанье руку.

Тонкий пожал три пальца, поклонился всем туловищем и захихикал, как китаец: «Хи-хи-хи». Жена улыбнулась. Нафанаил шаркнул ногой и уронил фуражку. Все трое были приятно ошеломлены...

1883

ЖАЛОБНАЯ КНИГА

Лежит она, эта книга, в специально построенной для нее конторке на станции железной дороги. Ключ от конторки «хранится у станционного жандарма», на деле же никакого ключа не нужно, так как конторка всегда отперта. Раскройте книгу и читайте:

«Милостивый государь! Проба пера?!»

Под этим нарисована рожица с длинным носом и рожками. Под рожицей написано:

«Ты картина, я портрет, ты скотина, а я нет. Я — морда твоя».

«Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. И. Ярмонкин».

«Кто писал не знаю, а я дурак читаю».

«Оставил память начальник стола претензий Коловроев».

«Приношу начальству мою жалобу на Кондуктора Кучкина за его грубости в отношении моей жене. Жена моя вовсе не шумела, а напротив старалась чтоб все было тихо. А также и насчет жандарма Клятвина который меня грубо за плечо взял. Жительство имею в имении Андрея Ивановича Ищеева который знает мое поведение. Конторщик Самолучшев».

«Никандров социалист!»

«Находясь под свежим впечатлением возмутительного поступка... (зачеркнуто). Проезжая через эту станцию, я был возмущен до глубины души следующим... (зачеркнуто). На моих глазах произошло следующее возмутительное происшествие, рисуемое яркими красками наши железнодорожные порядки... (далее все зачеркнуто, кроме подписи). Ученик 7-го класса Курской гимназии Алексей Зудьев».

«В ожидании отхода поезда обзирал физиогномию начальника станции и остался ею весьма недоволен. Объявляю о сем по линии. Неунывающий дачник».

«Я знаю кто это писал. Это писал М.Д.»

«Господа! Тельцовский шуллер!»

«Жандармиха ездила вчера с буфетчиком Костькой за реку. Желаем всего лучшего. Не унывай, жандарм!»

«Проезжая через станцию и будучи голоден в рассуждении чего бы покушать я не мог найти постной пищи. Дьякон Духов».

«Лопай, что дают»...

«Кто найдет кожаный портсигар тот пушай отдаст в кассу Андрею Егорычу».

«Так как меня прогоняют со службы, будто я пьянствую, то объявляю, что все вы мошенники и воры. Телеграфист Козьмодемьянский».

«Добродетелью украшайтесь».

«Катинька, я вас люблю безумно!»

«Прошу в жалобной книге не писать посторонних вещей. За начальника станции Иванов 7-й».

«Хоть ты и седьмой, а дурак».

ХИРУРГИЯ

Земская больница. За отсутствием доктора, уехавшего жениться, больных принимает фельдшер Курятин, толстый человек лет сорока, в поношенной чечунчовой жакетке и в истрепанных триковых брюках. На лице выражение чувства долга и приятности. Между указательным и средним пальцами левой руки — сигара, распространяющая зловоние.

В приемную входит дьячок Вонмигласов, высокий коренастый старик в коричневой рясе и с широким кожаным поясом. Правый глаз с бельмом и полузакрит, на носу бородавка, похожая издали на большую муху. Секунду дьячок ищет глазами икону и, не найдя таковой, крестится на бутылку с карболовым раствором, потом вынимает из красного платочка просфору и с поклоном кладет ее перед фельдшером.

— А-а-а... мое вам! — зевает фельдшер. — С чем пожаловали?

— С воскресным днем вас, Сергей Кузьмич... К вашей милости... Истинно и правдиво в псалтыри сказано, извините: «Питие мое с плачем растворяю». Сел намедни со старухой чай пить и — ни боже мой, ни капельки, ни синь-порох, хоть ложись да помирай... Хлебнешь чуточку — и силы моей нету! А кроме того, что в самом зубе, но и всю эту сторону... Так и ломит, так и ломит! В ухо отдает, извините, словно в нем гвоздик или другой какой предмет: так и стреляет, так и стреляет! Согрешихом и беззаконновахом... Студными бо окалях душу грехми и в лености житие мое иждих... За грехи, Сергей Кузьмич, за грехи! Отец иерей после литургии упрекает: «Косноязычен ты, Ефим, и гугнив стал. Поешь, и ничего у тебя не разберешь». А какое, судите, тут пение, ежели рта раскрыть нельзя, все распухши, извините, и ночь не спавши...

— М-да... Садитесь... Раскройте рот!

Вонмигласов садится и раскрывает рот.

Курятин хмурится, глядит в рот и среди пожелтевших от времени и табаку зубов усматривает один зуб, украшенный зияющим дуплом.

— Отец диакон велели водку с хреном прикладывать — не помогло. Гликерия Анисимовна, дай бог им здоровья, дали на руку ниточку носить с Афонской горы да велели теплым

молоком зуб полоскать, а я, признаться, ниточку-то надел, а в отношении молока не соблюл: бога боюсь, пост...

— Предрассудок... (пауза). Вырвать его нужно, Ефим Ми-хеич!

— Вам лучше знать, Сергей Кузьмич. На то вы и обучены, чтоб это дело понимать как оно есть, что вырвать, а что каплями или прочим чем... На то вы, благодетели, и поставлены, дай бог вам здоровья, чтоб мы за вас денно и ночью, отцы родные... по гроб жизни...

— Пустяки... — скромничает фельдшер, подходя к шкапу и роясь в инструментах. — Хирургия — пустяки... Тут во всем привычка, твердость руки... Раз плюнуть... Намедни тоже, вот как и вы, приезжает в больницу помещик Александр Иванович Египетский... Тоже с зубом... Человек образованный, обо всем спрашивает, во все входит, как и что. Руку пожимает, по имени и отчеству... В Петербурге семь лет жил, всех профессоров перенюхал... Долго мы с ним тут... Христом-богом молит: вырвите вы мне его, Сергей Кузьмич! Отчего же не вырвать? Вырвать можно. Только тут понимать надо, без понятия нельзя... Зубы разные бывают. Один рвешь щипцами, другой козьей ножкой, третий ключом... Кому как.

Фельдшер берет козью ножку, минуту смотрит на нее вопро-сительно, потом кладет и берет щипцы.

— Ну-с, раскройте рот пошире... — говорит он, подходя с щипцами к дьячку. — Сейчас мы его... тово... Раз плюнуть... Десну подрезать только... тракцию сделать по вертикальной оси... и все... (подрезывает десну) и все...

— Благодетели вы наши... Нам, дуракам, и невдомек, а вас господь просветил...

— Не рассуждайте, ежели у вас рот раскрыт... Этот легко рвать, а бывает так, что одни только корешки... Этот — раз плюнуть... (накладывает щипцы). Пойдите, не дергайтесь... Сидите неподвижно... В мгновение ока... (делает тракцию). Главное, чтоб поглубже взять (тянет)... чтоб коронка не сломалась...

— Отцы наши... Мать пресвятая... Ввв...

— Не тово... не тово... как его? Не хватайте руками! Пусти-те руки! (тянет). Сейчас... Вот, вот... Дело-то ведь не легкое...

— Отцы... радетели... (кричит). Ангелы! Ого-го... Да дер-гай же, дергай! Чего пять лет тянешь?

— Дело-то ведь... хирургия... Сразу нельзя... Вот, вот...

Вонмигласов поднимает колени до локтей, шевелит пальцами, выпучивает глаза, прерывисто дышит... На багровом лице его выступает пот, на глазах слезы. Курятин сопит, топчется перед дьячком и тянет... Проходят мучительнейшие полминуты — и щипцы срываются с зуба. Дьячок вскакивает и лезет пальцами в рот. Во рту нащупывает он зуб на старом месте.

— Тянул! — говорит он плачущим и в то же время насмешливым голосом. — Чтоб тебя так на том свете потянуло! Благодарим покорно! Коли не умеешь рвать, так не берись! Света божьего не вижу...

— А ты зачем руками хватаешь? — сердится фельдшер. — Я тяну, а ты мне под руку толкаешь и разные глупые слова... Дура!

— Сам ты дура!

— Ты думаешь, мужик, легко зуб-то рвать? Возьмись-ка! Это не то, что на колокольню полез да в колокола отбарабанил! (дразнит). «Не умеешь, не умеешь!» Скажи, какой указчик нашелся! Ишь ты... Господину Египетскому, Александру Иванычу, рвал, да и тот ничего, никаких слов... Человек почище тебя, а не хватал руками... Садись! Садись, тебе говорю!

— Света не вижу... Дай дух перевести... Ох! (садится). Не тяни только долго, а дергай. Ты не тяни, а дергай... Сразу!

— Учи ученого! Экий, господи, народ необразованный! Живи вот с этакими... очумеешь! Раскрой рот... (накладывает щипцы). Хирургия, брат, не шутка... Это не на клиросе читать... (делает тракцию). Не дергайся... Зуб, выходит, застарелый, глубоко корни пустил... (тянет). Не шевелись... Так... так... Не шевелись... Ну, ну... (слышен хрустящий звук). Так и знал!

Вонмигласов сидит минуту неподвижно, словно без чувств. Он ошеломлен... Глаза его тупо глядят в пространство, на бледном лице пот.

— Было б мне козьей ножкой... — бормочет фельдшер. — Этакая оказия!

Придя в себя, дьячок сует в рот пальцы и на месте больного зуба находит два торчащих выступа.

— Парршивый черт... — выговаривает он. — Насажали вас здесь, иродов, на нашу погибель!

— Поругайся мне еще тут... — бормочет фельдшер, кладя в шкаф щипцы. — Невежа... Мало тебя в бурсе березой потчевали... Господин Египетский, Александр Иванович, в Петербурге лет семь жил... образованность... один костюм рублей сто стоит... да и то не ругался... А ты что за пава такая? Ништо тебе, не околеешь!

Дьячок берет со стола свою просфору и, придерживая щеку рукой, уходит восвояси...

1884

ХАМЕЛЕОН

Через базарную площадь идет полицейский надзиратель Очумелов в новой шинели и с узелком в руке. За ним шагает рыжий городской с решетом, доверху наполненным конфискованным крыжовником. Кругом тишина... На площади ни души... Открытые двери лавок и кабаков глядят на свет божий уныло, как голодные пасти; около них нет даже нищих.

— Так ты кусаться, окаянная? — слышит вдруг Очумелов. — Ребята, не пушай ее! Нынче не велено кусаться! Держи! А... а!

Слышен собачий визг. Очумелов глядит в сторону и видит: из дровяного склада купца Пичугина, прыгая на трех ногах и оглядываясь, бежит собака. За ней гонится человек в ситцевой крахмальной рубашке и расстегнутой жилетке. Он бежит за ней и, подавшись туловищем вперед, падает на землю и хватается собаку за задние лапы. Слышен вторично собачий визг и крик: «Не пушай!» Из лавок высовываются сонные физиономии, и скоро около дровяного склада, словно из земли выросши, собирается толпа.

— Никак беспорядок, ваше благородие!.. — говорит городской.

Очумелов делает полуоборот налево и шагает к сборищу. Около самых ворот склада, видит он, стоит вышеписанный человек в расстегнутой жилетке и, подняв вверх правую руку, показывает толпе окровавленный палец. На полупьяном лице его как бы написано: «Ужо я сорву с тебя, шельма!», да и самый палец имеет вид знамени победы. В этом человеке Очумелов узнает золотых дел мастера Хрюкина. В центре толпы, растопыбив передние ноги и дрожа всем телом, сидит на

земле сам виновник скандала — белый борзой щенок с острой мордой и желтым пятном на спине. В слезящихся глазах его выражение тоски и ужаса.

— По какому это случаю тут? — спрашивает Очумелов, врезываясь в толпу. — Почему тут? Это ты зачем палец?.. Кто кричал?

— Иду я, ваше благородие, никого не трогаю... — начинает Хрюкин, кашляя в кулак. — Насчет дров с Митрий Митричем, — и вдруг эта подлая ни с того ни с сего за палец... Вы меня извините, я человек, который работающий... Работа у меня мелкая. Пушай мне заплатят, потому — я этим пальцем, может, неделю не пошевелю... Этого, ваше благородие, и в законе нет, чтоб от твари терпеть... Ежели каждый будет кусаться, то лучше и не жить на свете...

— Гм!.. Хорошо... — говорит Очумелов строго, кашляя и шевеля бровями. — Хорошо... Чья собака? Я этого так не оставляю. Я покажу вам, как собак распускать! Пора обратить внимание на подобных господ, не желающих подчиняться постановлениям! Как оштрафуют его, мерзавца, так он узнает у меня, что значит собака и прочий бродячий скот! Я ему покажу кузькину мать!.. Елдырин, — обращается надзиратель к городовому, — узнай, чья это собака, и составляй протокол! А собаку истребить надо. Немедля! Она, наверное, бешеная... Чья это собака, спрашиваю?

— Это, кажись, генерала Жигалова! — говорит кто-то из толпы.

— Генерала Жигалова? Гм!.. Сними-ка, Елдырин, с меня пальто... Ужас как жарко! Должно полагать, перед дождем... Одного только я не понимаю: как она могла тебя укусить? — обращается Очумелов к Хрюкину. — Нешто она достанет до пальца? Она маленькая, а ты ведь вон какой здоровила! Ты, должно быть, расковырял палец гвоздиком, а потом и пришла в твою голову идея, чтоб сорвать. Ты ведь... известный народ! Знаю вас, чертей!

— Он, ваше благородие, цигаркой ей в харю для смеха, а она — не будь дура, и тяпни... Вздорный человек, ваше благородие!

— Врешь, кривой! Не видал, так, стало быть, зачем врать? Их благородие умный господин и понимают, ежели кто врет, а кто по совести, как перед богом... А ежели я вру, так пушай

мировой рассудит. У него в законе сказано... Нынче все равны... У меня у самого брат в жандарах... ежели хотите знать...

— Не рассуждать!

— Нет, это не генеральская... — глубокомысленно замечает городской. — У генерала таких нет. У него все больше левые...

— Ты это верно знаешь?

— Верно, ваше благородие...

— Я и сам знаю. У генерала собаки дорогие, породистые, а эта — черт знает что! Ни шерсти, ни вида... подлость одна только... И этакую собаку держат?! Где же у вас ум? Попадись такая собака в Петербурге или Москве, то знаете, что было бы? Там не посмотрели бы в закон, а моментально — не дыши! Ты, Хрюкин, пострадал и дела этого так не оставляй... Нужно проучить! Пора...

— А может быть, и генеральская... — думает вслух городской. — На морде у ней не написано... Намедни во дворе у него такую видел.

— Вестимо, генеральская! — говорит голос из толпы.

— Гм!.. Надень-ка, брат Елдырин, на меня пальто... Что-то ветром подуло... Знобит... Ты отведешь ее к генералу и спросишь там. Скажешь, что я нашел и прислал... И скажи, чтобы ее не выпускали на улицу... Она, может быть, дорогая, а ежели каждый свинья будет ей в нос сигаркой тыкать, то долго ли испортить. Собака — нежная тварь... А ты, болван, опусти руку! Нечего свой дурацкий палец выставлять! Сам виноват!..

— Повар генеральский идет, его спросим... Эй, Прохор! Поди-ка, милый, сюда! Погляди на собаку... Ваша?

— Выдумал! Этаких у нас отродясь не бывало!

— И спрашивать тут долго нечего, — говорит Очумелов. — Она бродячая! Нечего тут долго разговаривать... Ежели сказал, что бродячая, стало быть, и бродячая... Истребить, вот и все.

— Это не наша, — продолжает Прохор. — Это генералова брата, что наемднись приехал. Наш не охотник до борзых. Брат ихний охоч...

— Да разве братец ихний приехали? Владимир Иваныч? — спрашивает Очумелов, и все лицо его заливается улыбкой умиления. — Ишь ты, господи! А я и не знал! Погостить приехали?

— В гости...

— Ишь ты, господи... Соскучились по братце... А я ведь и не знал! Так это ихняя собачка? Очень рад... Возьми ее... Собачонка ничего себе... Шустрая такая... Цап этого за палец! Ха-ха-ха... Ну, чего дрожишь? Ррр... Рр... Сердится, шельма... цуцык этакий...

Прохор зовет собаку и идет с ней от дровяного склада... Толпа хохочет над Хрюкиным.

— Я еще доберусь до тебя! — грозит ему Очумелов и, запахиваясь в шинель, продолжает свой путь по базарной площади.

1884

ВИНТ

В одну скверную осеннюю ночь Андрей Степанович Пересолин ехал из театра. Ехал он и размышлял о той пользе, какую приносили бы театры, если бы в них давались пьесы нравственного содержания. Проезжая мимо правления, он бросил думать о пользе и стал глядеть на окна дома, в котором он, выражаясь языком поэтов и шкиперов, управлял рулем. Два окна, выходявшие из дежурной комнаты, были ярко освещены.

«Неужели они до сих пор с отчетом возьтятся? — подумал Пересолин. — Четыре их там дурака, и до сих пор еще не кончили! Чего доброго, люди подумают, что я им и ночью покоя не даю. Пойду подгоню их...» — Остановись, Гурий!

Пересолин вылез из экипажа и пошел в правление. Парадная дверь была заперта, задний же ход, имевший одну только испортившуюся задвижку, был настезь. Пересолин воспользовался последним и через какую-нибудь минуту стоял уже у дверей дежурной комнаты. Дверь была слегка открыта, и Пересолин, взглянув в нее, увидел нечто необычайное. За столом, заваленным большими счетными листами, при свете двух ламп, сидели четыре чиновника и играли в карты. Сосредоточенные, неподвижные, с лицами, окрашенными в зеленый цвет от абажуров, они напоминали сказочных гномов или, чего боже избави, фальшивых монетчиков... Еще более таинственности придавала им их игра. Судя по их манерам и карточным терминам, которые они изредка выкрикивали, то

был винт; судя же по всему тому, что услышал Пересолин, эту игру нельзя было назвать ни винтом, ни даже игрой в карты. То было нечто неслыханное, странное и таинственное... В чиновниках Пересолин узнал Серафима Звиздулина, Степана Кулакевича, Еремея Недоехова и Ивана Писулина.

— Как же ты это ходишь, черт голландский, — рассердился Звиздулин, с остервенением глядя на своего партнера *vis-à-vis*. — Разве так можно ходить? У меня на руках был Дорофеев сам-друг, Шепелев с женой да Степка Ерлаков, а ты ходишь с Кофейкина. Вот мы и без двух! А тебе бы, садовая голова, с Поганкина ходить!

— Ну, и что ж тогда б вышло? — окрысился партнер. — Я пошел бы с Поганкина, а у Ивана Андреича Пересолин на руках.

«Мою фамилию к чему-то приплели... — пожал плечами Пересолин. — Не понимаю!»

Писулин сдал снова, и чиновники продолжали:

— Государственный банк...

— Два — казенная палата...

— Без козыря...

— Ты без козыря?? Гм!.. Губернское правление — два... Погибать — так погибать, шут возьми! Тот раз на народном просвещении без одной остался, сейчас на губернском правлении нарвусь. Плевать!

— Маленький шлем на народном просвещении!

«Не понимаю!» — прошептал Пересолин.

— Хожу со статского... Бросай, Ваня, какого-нибудь титуляшку или губернского.

— Зачем нам титуляшку? Мы и Пересолиным хватим...

— А мы твоего Пересолина по зубам... по зубам... У нас Рыбников есть. Быть вам без трех! Показывайте Пересолиху! Нечего вам ее, каналью, за обшлаг прятать!

«Мою жену затрогали... — подумал Пересолин. — Не понимаю».

И, не желая долее оставаться в недоумении, Пересолин открыл дверь и вошел в дежурную. Если бы перед чиновниками явился сам черт с рогами и с хвостом, то он не удивил бы и не испугал так, как испугал и удивил их начальник. Явись перед ними умерший в прошлом году экзекутор, проговори он им гробовым голосом: «Идите за мной, аггелы, в место, уго-

тованное канальям», и дыхни он на них холодом могилы, они не побледнели бы так, как побледнели, узнав Пересолина. У Недоехова от перепугу даже кровь из носа пошла, а у Кулакевича забарабанило в правом ухе и сам собою развязался галстук. Чиновники побросали карты, медленно поднялись и, переглянувшись, устремили свои взоры на пол. Минуту в дежурной царила тишина...

— Хорошо же вы отчет переписываете! — начал Пересолин. — Теперь понятно, почему вы так любите с отчетом возиться... Что вы сейчас делали?

— Мы только на минутку, ваше-ство... — прошептал Звиздулин. — Карточки рассматривали... Отдыхали...

Пересолин подошел к столу и медленно пожал плечами. На столе лежали не карты, а фотографические карточки обыкновенного формата, снятые с картона и наклеенные на игральные карты. Карточек было много. Рассматривая их, Пересолин увидел себя, свою жену, много своих подчиненных, знакомых...

— Какая чепуха... Как же вы это играете?

— Это не мы, ваше-ство, выдумали... Сохрани бог... Это мы только пример взяли...

— Объясни-ка, Звиздулин! Как вы играли? Я все видел и слышал, как вы меня Рыбниковым били... Ну, чего мнешься? Ведь я тебя не ем? Рассказывай!

Звиздулин долго стеснялся и трусил. Наконец, когда Пересолин стал сердиться, фыркать и краснеть от нетерпения, он послушался. Собрав карточки и перетасовав, он разложил их по столу и начал объяснять:

— Каждый портрет, ваше-ство, как и каждая карта, свою суть имеет... значение. Как и в колоде, так и здесь 52 карты и четыре масти... Чиновники казенной палаты — черви, губернское правление — трефы, служащие по министерству народного просвещения — бубны, а пиками будет отделение государственного банка. Ну-с... Действительные статские советники у нас тузы, статские советники — короли, супруги особ IV и V класса — дамы, коллежские советники — валеты, надворные советники — десятки, и так далее. Я, например, — вот моя карточка, — тройка, так как, будучи губернский секретарь...

— Ишь ты... Я, стало быть, туз?

— Трефовый-с, а ее превосходительство — дама-с...

— Гм!.. Это оригинально... А ну-ка, давайте сыграем! Посмотрю...

Пересолин снял пальто и, недоверчиво улыбаясь, сел за стол. Чиновники тоже сели по его приказанию, и игра началась...

Сторож Назар, пришедший в семь часов утра мести дежурную комнату, был поражен. Картина, которую увидел он, войдя со щеткой, была так поразительна, что он помнит ее теперь даже тогда, когда, напившись пьян, лежит в беспмятстве. Пересолин, бледный, сонный и непричесанный, стоял перед Недоеховым и, держа его за пуговицу, говорил:

— Пойми же, что ты не мог с Шепелева ходить, если знал, что у меня на руках я сам-четверт. У Звиздулина Рыбников с женой, три учителя гимназии да моя жена, у Недоехова банковцы и три маленьких из губернской управы. Тебе бы нужно было с Крышкина ходить! Ты не гляди, что они с казенной палаты ходят! Они себе на уме!

— Я, ваше-ство, пошел с титулярного, потому, думал, что у них действительный.

— Ах, голубчик, да ведь так нельзя думать! Это не игра! Так играют одни только сапожники. Ты рассуждай!.. Когда Кулакевич пошел с надворного губернского правления, ты должен был бросать Ивана Ивановича Гренландского, потому что знал, что у него Наталья Дмитриевна сам-третей с Егор Егорычем... Ты все испортил! Я тебе сейчас докажу. Садитесь, господа, еще один робер сыграем!

И, уславши удивленного Назара, чиновники уселись и продолжали игру.

1884

МАСКА

В X-ом общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышники, бал-парей¹.

Было 12 часов ночи. Не танцующие интеллигенты без масок — их было пять душ — сидели в читальне за большим сто-

¹ Парадный бал (*франц.* bal pare).

лом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, — «мыслили».

Из общей залы доносились звуки кадрили «Вьюшки». Мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.

— Здесь, кажется, удобнее будет! — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. — Валяйте сюда! Сюда, ребята!

Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлиньими перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутылка с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.

— Сюда! Здесь и прохладнее будет, — сказал мужчина. — Становь поднос на стол... Садитесь, мамзели! Же ву при а ля тримонтран! А вы, господа, подвиньтесь... нечего тут!

Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов.

— Становь сюда! А вы, господа читатели, подвиньтесь; некогда тут с газетами да с политикой... Бросайте!

— Я просил бы вас потише, — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. — Здесь читальня, а не буфет... Здесь не место пить.

— Почему не место? Нешто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно! Но... некогда разговаривать! Бросайте газеты... Почитали малость, и будет с вас; и так уж умны очень, да и глаза попортишь, а главнее всего — я не желаю, и все тут.

Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.

— И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков, — начал мужчина с павлиньими перьями, наливая себе ликеру. — А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты оттого, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха!.. Читают! Ну, а о чем там написано? Господин в очках! Про какие факты вы читаете? Ха-ха! Ну, да брось! Будет тебе кочевряжиться! Выпей лучше!

Мужчина с павлиньими перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов, те — на него.

— Вы забываетесь, милостивый государь! — вспыхнул он. — Вы обращаете читальню в кабак, вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь! Я директор банка Жестяков!..

— А плевать мне, что ты — Жестяков! А газете твоей вот какая честь...

Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки.

— Господа, что же это такое? — пробормотал Жестяков, обомлев. — Это странно, это... это даже сверхъестественно...

— Они рассердившись, — засмеялся мужчина. — Фу-ты, ну-ты, испугался! Даже поджилки трясутся. Вот что, господа почтенные! Шутки в сторону, разговаривать с вами мне не охотно... Потому, как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить, то прошу не претикословить и выйти... Пожалуйте-с! Господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим! Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стало быть, и выходи! Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело!

— То есть как же это? — спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. — Я даже не понимаю... Какой-то нахал врывается сюда и... вдруг этакие вещи!

— Какое это такое слово нахал? — крикнул мужчина с павлиньими перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу, так что на подносе запрыгали стаканы. — Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай подобру-поздорову! Все уходите, чтоб ни одной шельмы тут не оставалось! Айда, к свиньям собачьим!

— А вот мы сейчас увидим! — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. — Я покажу вам! Эй, позови-ка сюда дежурного старшину!

Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев.

— Прошу вас выйти! — начал он. — Здесь не место пить! Пожалуйста в буфет!

— Ты откуда это выскочил? — спросил мужчина в маске. — Нешто я тебя звал?

— Прошу не тыкать, а извольте выйти!

— Вот что, милый человек: даю тебе минуту сроку... Потому, как ты старшина и главное лицо, то вот выведи этих артистов под ручки. Мамзелям моим не ндравится, ежели здесь есть кто посторонний... Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде.

— Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву! — крикнул Жестяков. — Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!

— Евстрат Спиридоныч! — понеслось по клубу. — Где Евстрат Спиридоныч?

Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.

— Прошу вас выйти отсюда! — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабранными усами.

— А ведь испугал! — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. — Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня бог! Усы как у кота, глаза вытарашил... Хе-хе-хе!

— Прошу не рассуждать! — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридоныч и задрожал. — Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!

В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал. Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из залы к читальне.

Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.

— Пиши, пиши, — говорила маска, тыча пальцем ему под перо. — Теперь что же со мной, с бедным, будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ха-ха! Ну что ж? Готов протокол? Все расписавшись? Ну, теперь глядите!.. Раз... два... три!..

Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно

заохотал. А впечатление, действительно, произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели, некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридоныч крикнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость.

В буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, — любовью к просвещению.

— Что ж, уйдете или нет? — спросил Пятигоров после минутного молчания.

Интеллигенты молча, не говоря ни слова, вышли на цыпочках из читальни, и Пятигоров запер за ними двери.

— Ты же ведь знал, что это Пятигоров! — хрипел через минуту Евстрат Спиридоныч вполголоса, тряся за плечо лакея, вносившего в читальню вино. — Отчего ты молчал?

— Не велели сказывать-с!

— Не велели сказывать... Как засажу я тебя, анафему, на месяц, так тогда будешь знать «не велели сказывать». Вон!! А вы-то хороши, господа, — обратился он к интеллигентам. — Бунт подняли! Не могли выйти из читальни на десять минуток! Вот теперь и расхлебывайте кашу. Эх, господа, господа... Не люблю, ей-богу!

Интеллигенты заходили по клубу унылые, потерянные, виноватые, шепчась и точно предчувствуя что-то недоброе... Жены и дочери их, узнав, что Пятигоров «обижен» и сердится, притихли и стали расходиться по домам. Танцы прекратились.

В два часа из читальни вышел Пятигоров; он был пьян и пошатывался. Войдя в залу, он сел около оркестра и задремал под музыку, потом печально склонил голову и захрапел.

— Не играйте! — замахали старшины музыкантам. — Тсс!.. Егор Нилыч спит...

— Не прикажете ли вас домой проводить, Егор Нилыч? — спросил Белебухин, нагнувшись к уху миллионера.

Пятигоров сделал губами так, точно хотел сдунуть со щеки муху.

— Не прикажете ли вас домой проводить, — повторил Белебухин, — или сказать, чтоб экипажик подали?

— А? Ково? Ты... чево тебе?

— Проводить домой-с... Баиньки пора...

— До-домой желаю... Прроводи!

Белебухин просиял от удовольствия и начал поднимать Пятигорова. К нему подскочили другие интеллигенты и, приятно улыбаясь, подняли потомственного почетного гражданина и осторожно повели к экипажу.

— Ведь этак одурачить целую компанию может только артист, талант, — весело говорил Жестяков, подсаживая его. — Я буквально поражен, Егор Нилыч! До сих пор хохочу... Ха-ха... А мы-то кипятимся, хлопочем! Ха-ха! Верите? и в театрах никогда так не смеялся... Бездна комизма! Всю жизнь буду помнить этот незапамятный вечер!

Проводив Пятигорова, интеллигенты повеселели и успокоились.

— Мне руку подал на прощанье, — проговорил Жестяков, очень довольный. — Значит, ничего, не сердится...

— Дай-то бог! — вздохнул Евстрат Спиридоныч. — Негодяй, подлый человек, но ведь — благодетель!.. Нельзя!..

1884

УСТРИЦЫ

Мне не нужно слишком напрягать память, чтобы во всех подробностях вспомнить дождливые осенние сумерки, когда я стою с отцом на одной из многолюдных московских улиц и чувствую, как мною постепенно овладевает странная болезнь. Боли нет никакой, но ноги мои подгибаются, слова оттанавливаются поперек горла, голова бессильно склоняется набок... По-видимому, я сейчас должен упасть и потерять сознание.

Попади я в эти минуты в больницу, доктора должны были бы написать на моей доске: *Fames*¹ — болезнь, которой нет в медицинских учебниках.

Возле меня на тротуаре стоит мой родной отец в поношенном летнем пальто и триковой шапочке, из которой торчит белеющий кусочек ваты. На его ногах большие, тяжелые калоши. Суетный человек, боясь, чтобы люди не увидели, что он носит калоши на босую ногу, натянул на голени старые голенища.

¹ Голод (*лат.*).

Этот бедный, глуповатый чужак, которого я люблю тем сильнее, чем оборваннее и грязнее делается его летнее франтоватое пальто, пять месяцев тому назад прибыл в столицу искать должности по письменной части. Все пять месяцев он шатался по городу, просил дела и только сегодня решился выйти на улицу просить милостыню...

Против нас большой трехэтажный дом с синей вывеской: «Трактир». Голова моя слабо откинута назад и набок, и я поневоле гляжу вверх, на освещенные окна трактира. В окнах мелькают человеческие фигуры. Виден правый бок оркестриона, две олеографии, висячие лампы... Вглядываясь в одно из окон, я усматриваю белеющее пятно. Пятно это неподвижно и своими прямолинейными контурами резко выделяется из общего темно-коричневого фона. Я напрягаю зрение и в пятне узнаю белую стенную вывеску. На ней что-то написано, но что именно — не видно...

Полчаса я не отрываю глаз от вывески. Своею белизною она притягивает мои глаза и словно гипнотизирует мой мозг. Я стараюсь прочесть, но старания мои тщетны.

Наконец странная болезнь вступает в свои права.

Шум экипажей начинает казаться мне громом, в уличной вони различаю я тысячи запахов, глаза мои в трактирных лампах и уличных фонарях видят ослепительные молнии. Мои пять чувств напряжены и хватают через норму. Я начинаю видеть то, чего не видел ранее.

— Устрицы... — разбираю я на вывеске.

Странное слово! Прожил я на земле ровно восемь лет и три месяца, но ни разу не слышал этого слова. Что оно значит? Не есть ли это фамилия хозяина трактира? Но ведь вывески с фамилиями вешаются на дверях, а не на стенах!

— Папа, что значит устрицы? — спрашиваю я хриплым голосом, силясь повернуть лицо в сторону отца.

Отец мой не слышит. Он всматривается в движения толпы и провожает глазами каждого прохожего... По его глазам я вижу, что он хочет сказать что-то прохожим, но роковое слово тяжелой гирей висит на его дрожащих губах и никак не может сорваться. За одним прохожим он даже шагнул и тронул его за рукав, но когда тот обернулся, он сказал «виноват», сконфузился и попятился назад.

— Папа, что значит устрицы? — повторяю я.

— Это такое животное... Живет в море...

Я мигом представляю себе это неведомое морское животное. Оно должно быть чем-то средним между рыбой и раком. Так как оно морское, то из него готовят, конечно, очень вкусную горячую уху с душистым перцем и лавровым листом, кислотоватую селянку с хрящиками, раковый соус, холодное с хреном... Я живо воображаю себе, как приносят с рынка это животное, быстро чистят его, быстро суют в горшок... быстро, быстро, потому что всем есть хочется... ужасно хочется! Из кухни несется запах рыбного жаркого и ракового супа.

Я чувствую, как этот запах щекочет мое нёбо, ноздри, как он постепенно овладевает всем моим телом... Трактир, отец, белая вывеска, мои рукава — все пахнет этим запахом, пахнет до того сильно, что я начинаю жевать. Я жую и делаю глотки, словно и в самом деле в моем рту лежит кусок морского животного...

Ноги мои гнутся от наслаждения, которое я чувствую, и я, чтобы не упасть, хватаю отца за рукав и припадаю к его мокрому летнему пальто. Отец дрожит и жмется. Ему холодно...

— Папа, устрицы постные или скоромные? — спрашиваю я.

— Их едят живыми... — говорит отец. — Они в раковинах, как черепахи, но... из двух половинок.

Вкусный запах мгновенно перестает щекотать мое тело, и иллюзия пропадает... Теперь я все понимаю!

— Какая гадость, — шепчу я, — какая гадость!

Так вот что значит устрицы! Я воображаю себе животное, похожее на лягушку. Лягушка сидит в раковине, смотрит оттуда большими блестящими глазами и играет своими отвратительными челюстями. Я представляю себе, как приносят с рынка это животное в раковине, с клешнями, блестящими глазами и со склизкой кожей... Дети все прячутся, а кухарка, брезгливо морщась, берет животное за клешню, кладет его на тарелку и несет в столовую. Взрослые берут его и едят... едят живьем, с глазами, с зубами, с лапками! А оно пищит и старается укусь за губу...

Я морщусь, но... но зачем же зубы мои начинают жевать? Животное мерзко, отвратительно, страшно, но я ем его, ем с жадностью, боясь разгадать его вкус и запах. Одно животное

съедено, а я уже вижу блестящие глаза другого, третьего... Я ем и этих... Наконец ем салфетку, тарелку, калоши отца, белую вывеску... Ем все, что только попадется мне на глаза, потому что я чувствую, что только от еды пройдет моя болезнь. Устрицы страшно глядят глазами и отвратительны, я дрожу от мысли о них, но я хочу есть! Есть!

— Дайте устриц! Дайте мне устриц! — вырывается из моей груди крик, и я протягиваю вперед руки.

— Помогите, господа! — слышу я в это время глухой, придушенный голос отца. — Совестно просить, но — боже мой! — сил не хватает!

— Дайте устриц! — кричу я, теребя отца за фалды.

— А ты разве ешь устриц? Такой маленький! — слышу я возле себя смех.

Перед нами стоят два господина в цилиндрах и со смехом глядят мне в лицо.

— Ты, мальчуган, ешь устриц? В самом деле? Это интересно! Как же ты их ешь?

Помню, чья-то сильная рука тащит меня к освещенному трактиру. Через минуту собирается вокруг толпа и глядит на меня с любопытством и смехом. Я сижу за столом и ем что-то склизкое, соленое, отдающее сыростью и плесенью. Я ем с жадностью, не жуя, не глядя и не осведомляясь, что я ем. Мне кажется, что если я открою глаза, то непременно увижу блестящие глаза, клешни и острые зубы...

Я вдруг начинаю жевать что-то твердое. Слышится хрустенье.

— Ха-ха! Он раковины ест! — смеется толпа. — Дурачок, разве это можно есть?

Засим я помню страшную жажду. Я лежу на своей постели и не могу уснуть от изжоги и странного вкуса, который я чувствую в своем горячем рту. Отец мой ходит из угла в угол и жестикулирует руками.

— Я, кажется, простудился, — бормочет он. — Что-то такое чувствую в голове... Словно сидит в ней кто-то... А может быть, это оттого, что я не... тово... не ел сегодня... Я, право, странный какой-то, глупый... Вижу, что эти господа платят за устриц десять рублей, отчего бы мне не подойти и не попросить у них несколько... займы? Наверное бы дали.

К утру я засыпаю, и мне снится лягушка с клешнями, сидящая в раковине и играющая глазами. В полдень просыпаюсь от жажды и ищу глазами отца: он все еще ходит и жестикулирует...

1884

ЛОШАДИНАЯ ФАМИЛИЯ

У отставного генерал-майора Булдеева разболелись зубы. Он полоскал рот водкой, коньяком, прикладывал к больному зубу табачную копоть, опий, скипидар, керосин, мазал щеку йодом, в ушах у него была вата, смоченная в спирту, но все это или не помогало, или вызывало тошноту. Приезжал доктор. Он поковырял в зубе, прописал хину, но и это не помогло. На предложение вырвать больной зуб генерал ответил отказом. Все домашние — жена, дети, прислуга, даже поваренок Петька — предлагали каждый свое средство. Между прочим, и приказчик Булдеева Иван Евсеич пришел к нему и посоветовал полечиться заговором.

— Тут, в нашем уезде, ваше превосходительство, — сказал он, — лет десять назад служил акцизный Яков Васильич. Заговаривал зубы — первый сорт. Бывало, отвернется к окошку, пошепчет, поплюет — и как рукой! Сила ему такая дадена...

— Где же он теперь?

— А после того, как его из акцизных уволили, в Саратове у тещи живет. Теперь только зубами и кормится. Ежели у которого человека заболит зуб, то и идут к нему, помогает... Тамошних саратовских на дому у себя пользует, а ежели которые из других городов, то по телеграфу. Пошлите ему, ваше превосходительство, депешу, что так, мол, вот и так... у раба божьего Алексия зубы болят, прошу выпользовать. А деньги за лечение почтой пошлете.

— Ерунда! Шарлатанство!

— А вы попытайте, ваше превосходительство. До водки очень охотник, живет не с женой, а с немкой, ругатель, но, можно сказать, чудодейственный господин!

— Пошли, Алеша! — взмолилась генеральша. — Ты вот не веришь в заговоры, а я на себе испытала. Хотя ты и не веришь, но отчего не послать? Руки ведь не отвалятся от этого.

— Ну, ладно, — согласился Булдеев. — Тут не только что к акцизному, но и к черту депешу пошлешь... Ох! Мочи нет! Ну, где твой акцизный живет? Как к нему писать?

Генерал сел за стол и взял перо в руки.

— Его в Саратове каждая собака знает, — сказал приказчик. — Извольте писать, ваше превосходительство, в город Саратов, стало быть... Его благородию господину Якову Васильичу... Васильичу...

— Ну?

— Васильичу... Якову Васильичу... а по фамилии... А фамилию вот и забыл!.. Васильичу... Черт... Как же его фамилия? Давеча, как сюда шел, помнил... Позвольте-с...

Иван Евсеич поднял глаза к потолку и зашевелил губами. Булдеев и генеральша ожидали нетерпеливо.

— Ну, что же? Скорей думай!

— Сейчас... Васильичу... Якову Васильичу... Забыл! Такая еще простая фамилия... словно как бы лошадиная... Кобылин? Нет, не Кобылин. Постойте... Жеребцов нешто? Нет, и не Жеребцов! Помню, фамилия лошадиная, а какая — из головы вышибло...

— Жеребятников?

— Никак нет. Постойте... Кобылицын... Кобылятников... Кобелев...

— Это уж собачья, а не лошадиная. Жеребчиков?

— Нет, и не Жеребчиков... Лошадинин... Лошаков... Жеребкин... Все не то!

— Ну, так как же я буду ему писать? Ты подумай!

— Сейчас. Лошадкин... Кобылкин... Коренной...

— Коренников? — спросила генеральша.

— Никак нет. Пристяжкин... Нет, не то! Забыл!

— Так зачем же, черт тебя возьми, с советами лезешь, ежели забыл? — рассердился генерал. — Ступай отсюда вон!

Иван Евсеич медленно вышел, а генерал схватил себя за щеку и заходил по комнатам.

— Ой, батюшки! — вопил он. — Ой, матушки! Ох, света белого не вижу!

Приказчик вышел в сад и, подняв к небу глаза, стал припоминать фамилию акцизного:

— Жеребчиков... Жеребковский... Жеребенко... Нет, не то! Лошадинский... Лошадевич... Жеребкович... Кобылянский...

Немного погодя его позвали к господам.

— Вспомнил? — спросил генерал.

— Никак нет, ваше превосходительство.

— Может быть, Конявский, Лошадников? Нет?

И в доме, все наперерыв, стали изобретать фамилии. Перебрали все возрасты, полы и породы лошадей, вспомнили гриву, копыта, сбрую... В доме, в саду, в людской и кухне люди ходили из угла в угол и, почесывая лбы, искали фамилию...

Приказчика то и дело требовали в дом.

— Табунов? — спрашивали у него. — Копытин? Жеребовский?

— Никак нет, — отвечал Иван Евсеич и, подняв вверх глаза, продолжал думать вслух: — Коненко... Конченко... Жеребеев... Кобылеев...

— Папа! — кричали из детской. — Тройкин! Уздечкин!

Вздуродилась вся усадьба. Нетерпеливый, замученный генерал пообещал дать пять рублей тому, кто вспомнит настоящую фамилию, и за Иваном Евсеичем стали ходить целыми толпами...

— Гнедов! — говорили ему. — Рысистый! Лошадицкий!

Но наступил вечер, а фамилия все еще не была найдена. Так и спать легли, не послав телеграммы.

Генерал не спал всю ночь, ходил из угла в угол и стонал... В третьем часу утра он вышел из дому и постучался в окно к приказчику.

— Не Меринов ли? — спросил он плачущим голосом.

— Нет, не Меринов, ваше превосходительство, — ответил Иван Евсеич и виновато вздохнул.

— Да может быть, фамилия не лошадиная, а какая-нибудь другая!

— Истинно слово, ваше превосходительство, лошадиная... Это очень даже отлично помню.

— Экий ты какой, братец, беспамятный... Для меня теперь эта фамилия дороже, кажется, всего на свете. Замучился!

Утром генерал опять послал за доктором.

— Пускай рвет! — решил он. — Нет больше сил терпеть...

Приехал доктор и вырвал больной зуб. Боль утихла тотчас же, и генерал успокоился. Сделав свое дело и получив, что следует, за труд, доктор сел в свою бричку и поехал домой. За воротами в поле он встретил Ивана Евсеича... Приказчик

стоял на краю дороги и, глядя сосредоточенно себе под ноги, о чем-то думал. Судя по морщинам, бороздившим его лоб, и по выражению глаз, думы его были напряженны, мучительны...

— Буланов... Чересседельников... — бормотал он. — Засу-
понин... Лошадский...

— Иван Евсеич! — обратился к нему доктор. — Не могу ли я, голубчик, купить у вас четвертей пять овса? Мне продают наши мужички овес, да уж больно плохой...

Иван Евсеич тупо поглядел на доктора, как-то дико улыбнулся и, не сказав в ответ ни одного слова, всплеснув руками, побежал к усадьбе с такой быстротой, точно за ним гналась бешеная собака.

— Надумал, ваше превосходительство! — закричал он радостно, не своим голосом, влетая в кабинет к генералу. — Надумал, дай бог здоровья доктору! Овсов! Овсов фамилия акцизного! Овсов, ваше превосходительство! Посылайте депешу Овсову!

— На-кося! — сказал генерал с презрением и поднес к лицу его два кукиша. — Не нужно мне теперь твоей лошадиной фамилии! На-кося!

1885

ЗЛОУМЫШЛЕННИК

Перед судебным следователем стоит маленький, чрезвычайно тощий мужичонка в пестрядинной рубаше и латаных портах. Его обросшее волосами и изъеденное рябинами лицо и глаза, едва видные из-за густых, нависших бровей, имеют выражение угрюмой суровости. На голове целая шапка давно уже не чесанных, путаных волос, что придает ему еще большую, паучью суровость. Он бос.

— Денис Григорьев! — начинает следователь. — Подойди поближе и отвечай на мои вопросы. Седьмого числа сего июля железнодорожный сторож Иван Семенов Акинфов, проходя утром по линии, на сто сорок первой версте, застал тебя за отвинчиванием гайки, коей рельсы прикрепляются к шпалам. Вот она, эта гайка!.. С каковою гайкой он и задержал тебя. Так ли это было?

— Чаво?

- Так ли все это было, как объясняет Акинфов?
- Знамо, было.
- Хорошо; ну, а для чего ты отвинчивал гайку?
- Чаво?
- Ты это свое «чаво» брось, а отвечай на вопрос: для чего ты отвинчивал гайку?
- Коли б не нужна была, не отвинчивал бы, — хрипит Денис, косясь на потолок.
- Для чего же тебе понадобилась эта гайка?
- Гайка-то? Мы из гаек грузила делаем...
- Кто это — мы?
- Мы, народ... Климовские мужики то есть.
- Послушай, братец, не прикидывайся ты мне идиотом, а говори толком. Нечего тут про грузила врать!
- Отродясь не врал, а тут вру... — бормочет Денис, мигая глазами. — Да нешто, ваше благородие, можно без грузила? Ежели ты живца или выполозка на крючок сажаешь, то нешто он пойдет ко дну без грузила? Вру... — усмехается Денис. — Черт ли в нем, в живце-то, ежели поверху плавать будет! Окунь, щука, налим завсегда на донную идет, а которая ежели поверху плавает, то ту разве только шилишпер схватит, да и то редко... В нашей реке не живет шилишпер... Эта рыба простор любит.
- Для чего ты мне про шилишпера рассказываешь?
- Чаво? Да ведь вы сами спрашиваете! У нас и господа так ловят. Самый последний мальчишка не станет тебе без грузила ловить. Конечно, который непонимающий, ну, тот и без грузила пойдет ловить. Дураку закон не писан...
- Так ты говоришь, что ты отвинтил эту гайку для того, чтобы сделать из нее грузило?
- А то что же? Не в бабки ж играть!
- Но для грузила ты мог взять свинец, пулю... гвоздик какой-нибудь...
- Свинец на дороге не найдешь, купить надо, а гвоздик не годится. Лучше гайки и не найти... И тяжелая, и дыра есть.
- Дураком каким прикидывается! Точно вчера родился или с неба упал. Разве ты не понимаешь, глупая голова, к чему ведет это отвинчивание? Недогляди сторож, так ведь поезд мог бы сойти с рельсов, людей бы убило! Ты людей убил бы!

— Избави господи, ваше благородие! Зачем убивать? Нешто мы некрещенные или злодеи какие? Слава те господи, господин хороший, век свой прожили и не токмо что убивать, но и мыслей таких в голове не было... Спаси и помилуй, царица небесная... Что вы-с!

— А отчего, по-твоему, происходят крушения поездов? Отвинти две-три гайки, вот тебе и крушение!

Денис усмехается и недоверчиво щурит на следователя глаза.

— Ну! Уж сколько лет всей деревней гайки отвинчиваем, и хранил господь, а тут крушение... Людей убил... Ежели б я рельсу унес или, положим, бревно поперек ейного пути положил, ну, тогда, пожалуй, своротило бы поезд, а то... тьфу! гайка!

— Да пойми же, гайками прикрепляется рельса к шпалам!

— Это мы понимаем... Мы ведь не все отвинчиваем... оставляем... Не без ума делаем... понимаем...

Денис зевает и крестит рот.

— В прошлом году здесь сошел поезд с рельсов, — говорит следователь. — Теперь понятно, почему...

— Чего изволите?

— Теперь, говорю, понятно, отчего в прошлом году сошел поезд с рельсов... Я понимаю!

— На то вы и образованные, чтобы понимать, милостивцы наши... Господь знал, кому понятие давал... Вы вот и рассудили, как и что, а сторож тот же мужик, без всякого понятия, хватает за шиворот и тащит... Ты рассуди, а потом и тащи! Сказано — мужик, мужицкий и ум... Запишите также, ваше благородие, что он меня два раза по зубам ударил и в груди.

— Когда у тебя делали обыск, то нашли еще одну гайку... Эту в каком месте ты отвинтил и когда?

— Это вы про ту гайку, что под красным сундучком лежала?

— Не знаю, где она у тебя лежала, но только нашли ее. Когда ты ее отвинтил?

— Я ее не отвинчивал, ее мне Игнашка, Семена кривого сын, дал. Это я про ту, что под сундучком, а ту, что на дворе в снях, мы вместе с Митрофаном вывинтили.

— С каким Митрофаном?

— С Митрофаном Петровым... Нешто не слышали? Невода у нас делает и господам продает. Ему много этих самых гаек требуется. На каждый невод, почитай, штук десять...

— Послушай... Тысяча семьдесят первая статья Уложения о наказаниях говорит, что за всякое с умыслом учиненное повреждение железной дороги, когда оно может подвергнуть опасности следующий по сей дороге транспорт и виновный знал, что последствием сего должно быть несчастье... понимаешь? знал! А ты не мог не знать, к чему ведет это отвинчивание... он приговаривается к ссылке в каторжные работы.

— Конечно, вы лучше знаете... Мы люди темные... нешто мы понимаем?

— Все ты понимаешь! Это ты врешь, прикидываешься!

— Зачем врать? Спросите на деревне, коли не верите... Без грузила только уклеюку ловят, а на что хуже пескаря, да и тот не пойдет тебе без грузила.

— Ты еще про шилишпера расскажи! — улыбается следователь.

— Шилишпер у нас не водится... Пушаем леску без грузила поверх воды на бабочку, идет голавль, да и то редко.

— Ну, молчи...

Наступает молчание. Денис переминается с ноги на ногу, глядит на стол с зеленым сукном и усиленно мигает глазами, словно видит перед собой не сукно, а солнце. Следователь быстро пишет.

— Мне идтить? — спрашивает Денис после некоторого молчания.

— Нет. Я должен взять тебя под стражу и отослать в тюрьму.

Денис перестает мигать и, приподняв свои густые брови, вопросительно глядит на чиновника.

— То есть как же в тюрьму? Ваше благородие! Мне некогда, мне надо на ярмарку; с Егора три рубля за сало получить...

— Молчи, не мешай.

— В тюрьму... Было б за что, пошел бы, а то так... здорово живешь... За что? И не крал, кажись, и не дрался... А ежели вы насчет недоимки сомневаетесь, ваше благородие, то не верьте старосте... Вы господина непременно члена спросите... Креста на нем нет, на старосте-то...

— Молчи!

— Я и так молчу... — бормочет Денис. — А что староста набрехал в учете, это я хоть под присягой... Нас три брата: Кузьма Григорьев, стало быть, Егор Григорьев и я, Денис Григорьев...

— Ты мне мешаешь... Эй, Семен! — кричит следователь. — Увести его!

— Нас три брата, — бормочет Денис, когда два дюжих солдата берут и ведут его из камеры. — Брат за брата не ответчик... Кузьма не платит, а ты, Денис, отвечай... Судьи! Помер покойник барин-генерал, царство небесное, а то показал бы он вам, судьям... Надо судить умеючи, не зря... Хоть и высеки, но чтоб за дело, по совести.

1885

ПЕРЕСОЛИЛ

Землемер Глеб Гаврилович Смирнов приехал на станцию Гнилушки. До усадьбы, куда он был вызван для межевания, оставалось еще проехать на лошадях верст тридцать-сорок. (Ежели возница не пьян и лошади не клячи, то и тридцати верст не будет, а коли возница с мухой да кони наморены, то целых пятьдесят наберется.)

— Скажите, пожалуйста, где я могу найти здесь почтовых лошадей? — обратился землемер к станционному жандарму.

— Которых? Почтовых? Тут за сто верст путевой собаки не сыщешь, а не то что почтовых... Да вам куда ехать?

— В Девкино, имение генерала Хохотова.

— Что ж? — зевнул жандарм. — Ступайте за станцию, там на дворе иногда бывают мужики, возят пассажиров.

Землемер вздохнул и поплелся за станцию. Там, после долгих поисков, разговоров и колебаний, он нашел здоровеннейшего мужика, угрюмого, рябого, одетого в рваную сермягу и лапти.

— Черт знает какая у тебя телега! — поморщился землемер, влезая в телегу. — Не разберешь, где у нее зад, где перед...

— Что ж тут разбирать-то? Где лошадиный хвост, там перед, а где сидит ваша милость, там зад...

Лошаденка была молодая, но тощая, с растопыренными ногами и покусанными ушами. Когда возница приподнялся и

стегнул ее веревочным кнутом, она только замотала головой, когда же он выбранился и стегнул ее еще раз, то телега взвизгнула и задрожала, как в лихорадке. После третьего удара телега покачнулась, после же четвертого она тронулась с места.

— Этак мы всю дорогу поедem? — спросил землемер, чувствуя сильную тряску и удивляясь способности русских возниц соединять тихую, черепашую езду с душой выворачивающей тряской.

— До-о-едem! — успокоил возница. — Кобылка молодая, шустрая... Дай ей только разбежаться, так потом и не остановишь... Но-о-о, прокля...тая!

Когда телега выехала со станции, были сумерки. Направо от землемера тянулась темная, замерзшая равнина, без конца и краю... Поедешь по ней, так наверно заедешь к черту на кулички. На горизонте, где она исчезала и сливалась с небом, лениво догорала холодная осенняя заря... Налево от дороги в темнеющем воздухе высились какие-то бугры, не то прошлогодние стоги, не то деревня. Что было впереди, землемер не видел, ибо с этой стороны все поле зрения застилала широкая, неуклюжая спина возницы. Было тихо, но холодно, морозно.

«Какая, однако, здесь глушь! — думал землемер, стараясь прикрыть свои уши воротником от шинели. — Ни кола ни двора. Не ровен час — нападут и ограбят, так никто и не узнает, хоть из пушек пали... Да и возница ненадежный... Ишь, какая спинуща! Этакое дитя природы пальцем тронет, так душа вон! И морда у него зверская, подозрительная».

— Эй, милый, — спросил землемер, — как тебя зовут?

— Меня-то? Клим.

— Что, Клим, как у вас здесь? Не опасно? Не шалят?

— Ничего, бог миловал... Кому ж шалить?

— Это хорошо, что не шалят... Но на всякий случай все-таки я взял с собой три револьвера, — соврал землемер. — А с револьвером, знаешь, шутки плохи. С десятью разбойниками можно справиться...

Стемнело. Телега вдруг заскрипела, завизжала, задрожала и, словно нехотя, повернула налево.

«Куда же это он меня повез? — подумал землемер. — Ехал все прямо и вдруг налево. Чего доброго, завезет, подлец, в какую-нибудь трущобу и... и... Бывают ведь случаи!»

— Послушай, — обратился он к вознице. — Так ты говоришь, что здесь не опасно? Это жаль... Я люблю с разбойниками драться... На вид-то я худой, болезненный, а силы у меня, словно у быка... Однажды напало на меня три разбойника... Так что ж ты думаешь? Одного я так трахнул, что... что, понимаешь, богу душу отдал, а два другие из-за меня в Сибирь пошли на каторгу. И откуда у меня сила берется, не знаю... Возьмешь одной рукой какого-нибудь здоровилу, вроде тебя, и... и сковырнешь.

Клим оглянулся на землемера, заморгал всем лицом и стегнул по лошаденке.

— Да, брат... — продолжал землемер. — Не дай бог со мной связаться. Мало того что разбойник без рук, без ног останется, но еще и перед судом ответит... Мне все судьи и исправники знакомы. Человек я казенный, нужный... Я вот еду, а начальству известно... так и глядят, чтоб мне кто-нибудь худа не сделал. Везде по дороге за кустиками урядники да сотские понатыканы... По... по...постой! — заорал вдруг землемер. — Куда же это ты въехал? Куда ты меня везешь?

— Да нешто не видите? Лес!

«Действительно, лес... — подумал землемер. — А я-то испугался! Однако не нужно выдавать своего волнения... Он уже заметил, что я трушу. Отчего это он стал так часто на меня оглядываться? Наверное, замышляет что-нибудь... Раньше ехал еле-еле, нога за ногу, а теперь ишь как мчится!»

— Послушай, Клим, зачем ты так гонишь лошадь?

— Я ее не гоню. Сама разбежалась... Уж как разбежится, так никаким средством ее не остановишь... И сама она не рада, что у ней ноги такие.

— Врешь, брат! Вижу, что врешь! Только я тебе не советую так быстро ехать. Попрдержжи-ка лошадь... Слышишь? Попрдержжи!

— Зачем?

— А затем... затем, что за мной со станции должны выехать четыре товарища. Надо, чтоб они нас догнали... Они обещали догнать меня в этом лесу... С ними веселей будет ехать... Народ здоровый, коренастый... у каждого по пистолету... Что это ты все оглядываешься и движешься, как на иголках? а? Я, брат, тово... брат... На меня нечего оглядываться...

интересного во мне ничего нет... Разве вот револьверы только... Изволь, если хочешь, я их выну, покажу... Изволь...

Землемер сделал вид, что роется в карманах, и в это время случилось то, чего он не мог ожидать при всей своей трусости. Клим вдруг вывалился из телеги и на четвереньках побежал к чаше.

— Караул! — заголосил он. — Караул! Бери, окаянный, и лошадь и телегу, только не губи ты моей души! Караул!

Послышались скорые, удаляющиеся шаги, треск хвороста — и все смолкло... Землемер, не ожидавший такого реприманда, первым делом остановил лошадь, потом уселся поудобней на телеге и стал думать.

«Убежал... испугался, дурак... Ну, как теперь быть? Самому продолжать путь нельзя, потому что дороги не знаю, да и могут подумать, что я у него лошадь украл... Как быть?»

— Клим! Клим!

— Клим!.. — ответило эхо.

От мысли, что ему всю ночь придется просидеть в темном лесу на холоде и слышать только волков, эхо да фырканье тощей кобылки, землемера стало коробить вдоль спины, словно холодным терпугом.

— Климушка! — закричал он. — Голубчик! Где ты, Климушка?

Часа два кричал землемер, и только после того, как он охрип и помирился с мыслью о ночевке в лесу, слабый ветерок донес до него чей-то стон.

— Клим! Это ты, голубчик? Поедем!

— У... убьешь!

— Да я пошутил, голубчик! Накажи меня господь, пошутил! Какие у меня револьверы! Это я от страха врал! Сделай милость, поедем! Мерзну!

Клим, сообразив, вероятно, что настоящий разбойник давно бы уж исчез с лошадью и телегой, вышел из лесу и нерешительно подошел к своему пассажиру.

— Ну, чего, дура, испугался? Я... я пошутил, а ты испугался... Садись!

— Бог с тобой, барин, — проворчал Клим, влезая в телегу. — Если б знал, и за сто целковых не повез бы. Чуть я не помер от страха...

Клим стегнул по лошаденке. Телега задрожала. Клим стегнул еще раз, и телега покачнулась. После четвертого удара, когда телега тронулась с места, землемер закрыл уши воротником и задумался. Дорога и Клим ему уже не казались опасными.

1885

ГОРЕ

Токарь Григорий Петров, издавна известный за великолепного мастера и в то же время за самого непутевого мужика во всей Галчинской волости, везет свою больную старуху в земскую больницу. Нужно ему проехать верст тридцать, а между тем дорога ужасная, с которой не справиться казенному почтарю, а не то что такому лежебоке, как токарь Григорий. Прямо навстречу бьет резкий, холодный ветер. В воздухе, куда ни взглянешь, кружатся целые облака снежинок, так что не разберешь, идет ли снег с неба или с земли. За снежным туманом не видно ни поля, ни телеграфных столбов, ни леса, а когда на Григория налетает особенно сильный порыв ветра, тогда не бывает видно даже дуги. Дряхлая, слабосильная кобылка плетется еле-еле. Вся энергия ее ушла на вытаскивание ног из глубокого снега и подергивание головой. Токарь торопится. Он беспокойно прыгает на облучке и то и дело хлещет по лошадиной спине.

— Ты, Матрена, не плачь... — бормочет он. — Потерпи малость. В больницу, бог даст, приедем, и мигом у тебя, это самое... Даст тебе Павел Иваныч капелек, или кровь пустить прикажет, или, может, милости его угодно будет спиртиком каким тебя растереть, оно и тово... оттянет от бока. Павел Иваныч постарается... Покричит, ногами потопчет, а уж постарается... Славный господин, обходительный, дай бог ему здоровья... Сейчас, как приедем, перво-наперво выскочит из своей фатеры и начнет чертей перебирать. «Как? Почему такое? — закричит. — Почему не вовремя приехал? Нешто я собака какая, чтоб цельный день с вами, чертями, возиться? Почему утром не приехал? Вон! Чтоб и духу твоего не было. Завтра приезжай!» А я и скажу: «Господин доктор! Павел

Иваныч! Ваше высокоблагородие!» Да поезжай же ты, чтоб тебе пусто было, черт! Но!

Токарь хлещет по лошаденке и, не глядя на старуху, продолжает бормотать себе под нос:

— «Ваше высокоблагородие! Истинно, как перед богом... вот вам крест, выехал я чуть свет. Где ж тут к сроку поспеть, ежели господь... мать божия... прогневался и метель такую послал? Сами изволите видеть... Какая лошадь поблагороднее, и та не выедет, а у меня, сами изволите видеть, не лошадь, а срамота!» А Павел Иваныч нахмурится и закричит: «Знаем вас! Завсегда оправдание найдете! Особливо ты, Гришка! Давно тебя знаю! Небось раз пять в кабак заезжал!» А я ему: «Ваше высокоблагородие! Да нешто я злодей какой или нехристь? Старуха душу богу отдает, помирает, а я стану по кабакам бегать! Что вы, помилуйте! Чтоб им пусто было, кабакам этим!» Тогда Павел Иваныч прикажет тебя в больницу снести. А я в ноги... «Павел Иваныч! Ваше высокоблагородие! Благодарим вас всепокорно! Простите нас, дураков, анафемов, не обессудьте нас, мужиков! Нас бы в три шеи надо, а вы изволите беспокоиться, ножки свои в снег марать!» А Павел Иваныч взглянет этак, словно ударить захочет, и скажет: «Чем в ноги-то бухать, ты бы лучше, дурак, водки не лопал да старуху жалел. Пороть тебя надо!» — «Истинно пороть, Павел Иваныч, побей меня бог, пороть! А как же нам в ноги не кланяться, ежели благодетели вы наши, отцы родные? Ваше высокоблагородие! Верно слово... вот как перед богом... плюньте тогда в глаза, ежели обману: как только моя Матрена, это самое, выздоровеет, станет на свою настоящую точку, то все, что соизволите приказать, все для вашей милости сделаю! Портсигарчик, ежели желаете, из карельской березы... шары для крокета, кегли могу выточить самые заграничные... все для вас сделаю! Ни копейки с вас не возьму! В Москве бы с вас за такой портсигарчик четыре рубля взяли, а я ни копейки». Доктор засмеется и скажет: «Ну, ладно, ладно... Чувствую! Только жалко, что ты пьяница»... Я, брат старуха, понимаю, как с господами надо. Нет того господина, чтоб я с ним не сумел поговорить. Только привел бы бог с дороги не сбиться. Ишь метет! Все глаза запорошило.

И токарь бормочет без конца. Болтает он языком машинально, чтоб хоть немного заглушить свое тяжелое чувство.

Слов на языке много, но мыслей и вопросов в голове еще больше. Горе застало токаря врасплох, неожиданно-негаданно, и теперь он никак не может очнуться, прийти в себя, сообразить. Жил доселе безмятежно, ровно, в пьяном полузабытьи, не зная ни горя, ни радостей, и вдруг чувствует теперь в душе ужасную боль. Беспечный лежебока и пьянчужка очутился ни с того ни с сего в положении человека занятого, озабоченного, спешащего и даже борющегося с природой.

Токарь помнит, что горе началось со вчерашнего вечера. Когда вчера вечером воротился он домой, по обыкновению пьяненьким, и по застарелой привычке начал браниться и махать кулаками, старуха взглянула на своего буяна так, как раньше никогда не глядела. Обыкновенно выражение ее старческих глаз было мученическое, кроткое, как у собак, которых много бьют и плохо кормят, теперь же она глядела сурово и неподвижно, как глядят святые на иконах или умирающие. С этих странных, нехороших глаз и началось горе. Ошалевший токарь выпросил у соседа лошаденку и теперь везет старуху в больницу, в надежде, что Павел Иваныч порошками и мазями возвратит старухе ее прежний взгляд.

— Ты же, Матрена, тово... — бормочет он. — Ежели Павел Иваныч спросит, бил я тебя или нет, говори: никак нет! А я тебя не буду больше бить. Вот те крест. Да нешто я бил тебя по злобе? Бил так, зря. Я тебя жалею. Другому бы и горя мало, а я вот везу... стараюсь. А метет-то, метет! Господи, твоя воля! Привел бы только бог с дороги не сбиться... Что, болит бок? Матрена, что ж ты молчишь? Я тебя спрашиваю: болит бок?

Странно, ему кажется, что на лице у старухи не тает снег, странно, что само лицо как-то особенно вытянулось, приняло бледно-серый, грязно-восковой цвет и стало строгим, серьезным.

— Ну и дура! — бормочет токарь. — Я тебе по совести, как перед богом... а ты, тово... ну и дура! Возьму вот и не повезу к Павлу Иванычу!

Токарь опускает вожжи и задумывается. Оглянуться на старуху он не решается: страшно! Задать ей вопрос и не получить ответа тоже страшно. Наконец, чтоб покончить с неизвестностью, он, не оглядываясь на старуху, нащупывает ее холодную руку. Поднятая рука падает как плеть.

— Померла, стало быть! Комиссия!

И токарь плачет. Ему не так жалко, как досадно. Он думает: как на этом свете все быстро делается! Не успело еще начаться его горе, как уж готова развязка. Не успел он пожить со старухой, высказать ей, пожалеть ее, как она уже умерла. Жил он с нею сорок лет, но ведь эти сорок лет прошли, словно в тумане. За пьянством, драками и нуждой не чувствовалась жизнь. И, как назло, старуха умерла как раз в то самое время, когда он почувствовал, что жалеет ее, жить без нее не может, страшно виноват перед ней.

— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он. — Сам я посылал ее хлеба у людей просить, комиссия! Ей бы, дуре, еще лет десяток прожить. А то небось думает, что я и взаправду такой. Мать пресвятая, да куда же к лешему я это еду? Теперь не лечить надо, а хоронить. Поворачивай!

Токарь поворачивает назад и изо всей силы бьет по лошадке. Путь с каждым часом становится все хуже и хуже. Теперь уже дуги совсем не видно. Изредка сани наедут на молодую елку, темный предмет оцарапает руки токаря, мелькнет перед его глазами, и поле зрения опять становится белым, кружащим.

«Жить бы сызнова»... — думает токарь.

Вспоминает он, что Матрена лет сорок тому назад была молодой, красивой, веселой, из богатого двора. Выдали ее за него замуж потому, что польстились на его мастерство. Все данные были для хорошего житья, но беда в том, что он как напился после свадьбы, завалился на печку, так словно и до сих пор не просыпался. Свадьбу он помнит, а что было после свадьбы — хоть убей, ничего не помнит, кроме разве того, что пил, лежал, дрался. Так и пропали сорок лет.

Белые снежные облака начинают мало-помалу сереть. Наступают сумерки.

— Куда ж я еду? — спохватывается вдруг токарь. — Хоронить надо, а я в больницу... Ошалел словно!

Токарь опять поворачивает назад и опять бьет по лошади. Кобылка напрягает все свои силы и, фыркая, бежит мелкой рысцей. Токарь раз за разом хлещет ее по спине... Сзади слышится какой-то стук, и он, хоть не оглядывается, но знает, что это случит голова покойницы о сани. А воздух все темнеет и темнеет, ветер становится холоднее и резче...

«Сызнова бы жить... — думает токарь. — Инструмент бы новый завести, заказы брать... деньги бы старухе отдавать... да!»

И вот он роняет вожжи. Ищет их, хочет поднять и никак не поднимет; руки не действуют...

«Все равно... — думает он, — сама лошадь пойдет, знает дорогу. Поспать бы теперь... Покуда там похороны или панихида, прилечь бы».

Токарь закрывает глаза и дремлет. Немного погодя он слышит, что лошадь остановилась. Он открывает глаза и видит перед собой что-то темное, похожее на избу или скирду...

Ему бы вылезти из саней и узнать, в чем дело, но во всем теле стоит такая лень, что лучше замерзнуть, чем двинуться с места... И он безмятежно засыпает.

Просыпается он в большой комнате с крашеными стенами. Из окон льет яркий солнечный свет. Токарь видит перед собой людей и первым делом хочет показать себя степенным, с понятием.

— Панихидку бы, братцы, по старухе! — говорит он. — Батюшке бы сказать...

— Ну, ладно, ладно! Лежи уж! — обрывает его чей-то голос.

— Батюшка! Павел Иваныч! — удивляется токарь, видя перед собой доктора. — Вашескородие! Благодетель!

Хочет он вскочить и бухнуть перед медициной в ноги, но чувствует, что руки и ноги его не слушаются.

— Ваше высокородие! Ноги же мои где? Где руки?

— Прощайся с руками и ногами... Отморозил! Ну, ну... чего же ты плачешь? Пожил, и слава богу! Небось шесть десятков прожил — будет с тебя!

— Горе!.. Вышескородие, горе ведь! Простите великодушно! Еще бы годочков пять-шесть...

— Зачем?

— Лошадь-то чужая, отдать надо... Старуху хоронить... И как на этом свете все скоро делается! Ваше высокородие! Павел Иваныч! Портсигарик из карельской березы наилучший! Крокетик выточу...

Доктор машет рукой и выходит из палаты. Токарю — аминь!

ТОСКА

Кому повем печаль мою?..

Вечерние сумерки. Крупный мокрый снег лениво кружится около только что зажженных фонарей и тонким мягким пластом ложится на крыши, лошадиные спины, плечи, шапки. Извозчик Иона Потапов весь бел, как привидение. Он согнулся, насколько только возможно согнуться живому телу, сидит на козлах и не шевельнется. Упади на него целый сугроб, то и тогда бы, кажется, он не нашел нужным стряхивать с себя снег... Его лошаденка тоже бела и неподвижна. Своею неподвижностью, угловатостью форм и палкообразной прямизною ног она даже вблизи похожа на копеечную пряничную лошадку. Она, по всей вероятности, погружена в мысль. Кого оторвали от плуга, от привычных серых картин и бросили сюда, в этот омут, полный чудовищных огней, неугомонного треска и бегущих людей, тому нельзя не думать...

Иона и его лошаденка не двигаются с места уже давно. Выехали они со двора еще до обеда, а почина все нет и нет. Но вот на город спускается вечерняя мгла. Бледность фонарных огней уступает свое место живой краске, и уличная сума-тоха становится шумнее.

— Извозчик, на Выборгскую! — слышит Иона. — Извозчик!

Иона вздрагивает и сквозь ресницы, облепленные снегом, видит военного в шинели с капюшоном.

— На Выборгскую! — повторяет военный. — Да ты спишь, что ли? На Выборгскую!

В знак согласия Иона дергает вожжи, отчего со спины лошади и с его плеч сыплются пласты снега...

Военный садится в сани. Извозчик чмокает губами, вытягивает по-лебединому шею, приподнимается и больше по привычке, чем по нужде, машет кнутом. Лошаденка тоже вытягивает шею, кривит свои палкообразные ноги и нерешительно двигается с места...

— Куда прешь, леший! — на первых же порах слышит Иона возгласы из темной движущейся взад и вперед массы. — Куда черти несут? Права держи!

— Ты ездить не умеешь! Права держи! — сердится военный.

Бранится кучер с кареты, злобно глядит и стряхивает с рукава снег прохожий, перебегавший дорогу и налетевший плечом на морду лошаденки. Иона ерзает на козлах, как на иголках, тыкает в стороны локтями и водит глазами как угорелый, словно не понимает, где он и зачем он здесь.

— Какие все подлецы! — острит военный. — Так и норвяты столкнутся с тобой или под лошадь попасть. Это они сговорились.

Иона оглядывается на седока и шевелит губами... Хочет он, по-видимому, что-то сказать, но из горла не выходит ничего, кроме сипенья.

— Что? — спрашивает военный.

Иона кривит улыбкой рот, напрягает свое горло и сипит:

— А у меня, барин, того... сын на этой неделе помер.

— Гм!.. Отчего же он умер?

Иона оборачивается всем туловищем к седоку и говорит:

— А кто ж его знает! Должно, от горячки... Три дня полежал в больнице и помер... Божья воля.

— Сворачивай, дьявол! — раздается в потемках. — Повылазило, что ли, старый пес? Гляди глазами!

— Поезжай, поезжай... — говорит седок. — Этак мы и до завтра не доедем. Подгони-ка!

Извозчик опять вытягивает шею, приподнимается и с тяжелой грацией взмахивает кнутом. Несколько раз потом оглядывается он на седока, но тот закрыл глаза и, по-видимому, не расположен слушать. Высадив его на Выборгской, он останавливается у трактира, сгибается на козлах и опять не шевельнется...

Мокрый снег опять красит набело его и лошаденку. Проходит час, другой...

По тротуару, громко стуча калошами и перебраниваясь, проходят трое молодых людей: двое из них высоки и тонки, третий мал и горбат.

— Извозчик, к Полицейскому мосту! — кричит дребезжащим голосом горбач. — Троих... двугривенный!

Иона дергает вожжами и чмокает. Двугривенный цена не сходная, но ему не до цены... Что рубль, что пятак — для него теперь все равно, были бы только седоки... Молодые люди, толкаясь и сквернословя, подходят к саням и все трое сразу лезут на сиденье. Начинается решение вопроса: кому двум

сидеть, а кому третьему стоять? После долгой перебранки, капризничанья и попреков приходят к решению, что стоять должен горбач, как самый маленький.

— Ну, погоняй! — дребезжит горбач, устанавливаясь и дыша в затылок Ионы. — Лупи! Да и шапка же у тебя, братец! Хуже во всем Петербурге не найти...

— Гы-ы... гы-ы... — хохочет Иона. — Какая есть...

— Ну, ты, какая есть, погоняй! Этак ты всю дорогу будешь ехать? Да? А по шее?..

— Голова трещит... — говорит один из длинных. — Вчера у Дукмасовых мы вдвоем с Васькой четыре бутылки коньяку выпили.

— Не понимаю, зачем врать! — сердится другой длинный. — Врет, как скотина.

— Накажи меня бог, правда...

— Это такая же правда, как то, что вошь кашляет.

— Гы-ы! — ухмыляется Иона. — Ве-еселые господа!

— Тьфу, чтоб тебя черти!.. — возмущается горбач. — По-едешь ты, старая холера, или нет? Разве так ездят? Хлобыстни-ка ее кнутом! Но, черт! Но! Хорошенько ее!

Иона чувствует за своей спиной вертящееся тело и голосовую дрожь горбача. Он слышит обращенную к нему ругань, видит людей, и чувство одиночества начинает мало-помалу отлегать от груди. Горбач бранится до тех пор, пока не давится вычурным, шестиэтажным ругательством и не раздражается кашлем.

Длинные начинают говорить о какой-то Надежде Петровне. Иона оглядывается на них. Дождавшись короткой паузы, он оглядывается еще раз и бормочет:

— А у меня на этой неделе... того... сын помер!

— Все помер... — вздыхает горбач, вытирая после кашля губы. — Ну, погоняй, погоняй! Господа, я решительно не могу дальше так ехать! Когда он нас довезет?

— А ты его легонечко подбодри... в шею!

— Старая холера, слышишь? Ведь шею наkostenю!.. С вашим братом церемониться, так пешком ходить!.. Ты слышишь, Змей Горыныч? Или тебе плевать на наши слова?

И Иона больше слышит, чем чувствует, звуки подзатыльника.

— Гы-ы... — смеется он. — Веселые господа... дай бог здоровья!

— Извозчик, ты женат? — спрашивает длинный.

— Я-то?.. Гы-ы... ве-еселые господа! Таперь у меня одна жена — сырая земля... Хи-хохо. Могила то есть!.. Сын-то вот помер, а я жив... Чудное дело, смерть дверью обозналась... За-место того, чтоб ко мне идтить, она к сыну...

И Иона оборачивается, чтобы рассказать, как умер его сын, но тут горбач легко вздыхает и заявляет, что, слава богу, они наконец приехали. Получив двугривенный, Иона долго глядит вслед гулякам, исчезающим в темном подъезде. Опять он одинок, и опять наступает для него тишина... Утихшая ненадолго тоска появляется вновь и распирает грудь еще с большей силой. Глаза Ионы тревожно и мученически бегают по толпам, снующим по обе стороны улицы: не найдется ли из этих тысяч людей хоть один, который выслушал бы его? Но толпы бегут, не замечая ни его, ни тоски... Тоска громадная, не знающая границ. Лопни грудь Ионы и вылейся из нее тоска, так она бы, кажется, весь свет залила, но тем не менее ее не видно. Она сумела поместиться в такую ничтожную скорлупу, что ее не увидишь днем с огнем...

Иона видит дворника с кульком и решает заговорить с ним.

— Милый, который теперь час будет? — спрашивает он.

— Десятый... Чего же стал здесь? Проезжай!

Иона отъезжает на несколько шагов, изгибается и отдается тоске... Обращаться к людям он считает уже бесполезным. Но не проходит и пяти минут, как он выпрямляется, встряхивает головой, словно почувствовал острую боль, и дергает вожжи... Ему немогуту.

«Ко двору, — думает он. — Ко двору!»

И лошаденка, точно поняв его мысль, начинает бежать рысцой. Спустя часа полтора Иона сидит уже около большой, грязной печи. На печи, на полу, на скамьях храпит народ. В воздухе «спираль» и духота... Иона глядит на спящих, почесывается и жалеет, что так рано вернулся домой...

«И на овес не выездил, — думает он. — Оттого-то вот и тоска. Человек, который знающий свое дело... который и сам сыт, и лошадь сыта, завсегда покоен...»

В одном из углов поднимается молодой извозчик, сонно крякает и тянется к ведру с водой.

— Пить захотел? — спрашивает Иона.

— Стало быть, пить!

— Так... На здоровье... А у меня, брат, сын помер... Слышал? На этой неделе в больнице... История!

Иона смотрит, какой эффект произвели его слова, но не видит ничего. Молодой укрылся с головой и уже спит. Старик вздыхает и чешется... Как молодому хотелось пить, так ему хочется говорить. Скоро будет неделя, как умер сын, а он еще путем не говорил ни с кем... Нужно поговорить с толком, с расстановкой... Надо рассказать, как заболел сын, как он мучился, что говорил перед смертью, как умер... Нужно описать похороны и поездку в больницу за одеждой покойника. В деревне осталась дочка Анисья... И про нее нужно поговорить... Да мало ли о чем он может теперь поговорить? Слушатель должен охать, вздыхать, причитывать... А с бабами говорить еще лучше. Те хоть и дуры, но ревут от двух слов.

«Пойти лошадь поглядеть, — думает Иона. — Спать всегда успеешь... Небось выспишься...»

Он одевается и идет в конюшню, где стоит его лошадь. Думает он об овсе, сене, о погоде... Про сына, когда один, думать он не может... Поговорить с кем-нибудь о нем можно, но самому думать и рисовать себе его образ невыносимо жутко...

— Жуешь? — спрашивает Иона свою лошадь, видя ее блестящие глаза. — Ну, жуй, жуй... Коли на овес не выездили, сено есть будем... Да... Стар уж стал я ездить... Сыну бы ездить, а не мне... То настоящий извозчик был... Жить бы только...

Иона молчит некоторое время и продолжает:

— Так-то, брат, кобылочка... Нету Кузьмы Ионыча... Приказал долго жить... Взял и помер зря... Таперя, скажем, у тебя жеребеночек, и ты этому жеребеночку родная мать... И вдруг, скажем, этот самый жеребеночек приказал долго жить... Ведь жалко?

Лошаденка жует, слушает и дышит на руки своего хозяина...

Иона увлекается и рассказывает ей все...

ВАНЬКА

Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в ученье к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутрене, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать. Прежде чем вывести первую букву, он несколько раз пугливо оглянулся на двери и окна, покосился на темный образ, по обе стороны которого тянулись полки с колодками, и прерывисто вздохнул. Бумага лежала на скамье, а сам он стоял перед скамьей на коленях.

«Милый дедушка, Константин Макарыч! — писал он. — И пишу тебе письмо. Поздравляю вас с Рождеством и желаю тебе всего от господа бога. Нету у меня ни отца, ни маменьки, только ты у меня один остался».

Ванька перевел глаза на темное окно, в котором мелькало отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константина Макарыча, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленький, тощенький, но необыкновенно юркий и подвижной старикашка, лет шестидесяти пяти, с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками, ночью же, окутанный в просторный тулуп, ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая Каштанка и кобелек Вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело, длинное, как у ласки. Этот Вьюн необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое иезуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему ж не раз отбивали задние ноги, раза два его вешали, каждую неделю пороли до полусмерти, но он всегда оживал.

Теперь, наверно, дед стоит у ворот, шурит глаза на ярко-красные окна деревенской церкви и, притопывая валенками, балагурит с дворней. Колотушка его подвязана к поясу. Он

всплескивает руками, пожимается от холода и, старчески хихикая, щиплет то горничную, то кухарку.

— Табачку нешо нам понюхать? — говорит он, подставляя бабам свою табакерку.

Бабы нюхают и чихают. Дед приходит в неописанный восторг, заливаясь веселым смехом и кричит:

— Отдирай, примерзло!

Дают понюхать табаку и собакам. Каштанка чихает, крутит мордой и, обиженная, отходит в сторону. Вьюн же из почтительности не чихает и вертит хвостом. А погода великолепная. Воздух тих, прозрачен и свеж. Ночь темна, но видно всю деревню с ее белыми крышами и струйками дыма, идущими из труб, деревья, посеребренные инеем, сугробы. Все небо усыпано весело мигающими звездами, и Млечный Путь вырисовывается так ясно, как будто его перед праздником помыли и потеряли снегом...

Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать:

«А вчера мне была выволочка. Хозяин выволок меня за волосья на двор и отчесал шпандырем за то, что я качал ихнего ребятенка в люльке и по нечаянности заснул. А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать. Подмастерья надо мной насмеваются, посылают в кабак за водкой и велят красть у хозяев огурцы, а хозяин бьет чем попадя. А еды нету никакой. Утром дают хлеба, в обед каши и к вечеру тоже хлеба, а чтоб чаю или шей, то хозяева сами трескают. А спать мне велят в сенях, а когда ребяенок ихний плачет, я вовсе не сплю, а качаю люльку. Милый дедушка, сделай божещкую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности... Кланяюсь тебе в ножки и буду вечно бога молить, увези меня отсюда, а то помру...»

Ванька покривил рот, потер своим черным кулаком глаза и всхлипнул.

«Я буду тебе табак тереть, — продолжал он, — богу молиться, а если что, то секи меня как сидорову козу. А ежели думаешь, должности мне нету, то я Христа ради попрошусь к приказчику сапоги чистить али заместо Федьки в подпаски пойду. Дедушка милый, нету никакой возможности, просто смерть одна. Хотел было пешком на деревню бежать, да сапо-

гов нету, морозу боюсь. А когда вырасту большой, то за это самое буду тебя кормить и в обиду никому не дам, а помрешь, стану за упокой души молить, все равно как за мамку Пелагею.

А Москва город большой. Дома все господские и лошадей много, а овец нету и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят и на клирос петь никого не пушают, а раз я видал в одной лавке на окне крючки продаются прямо с леской и на всякую рыбу, очень стоящие, даже такой есть один крючок, что пудового сома удержит. И видал которые лавки, где ружья всякие на манер бариновых, так что небось рублей сто каждое... А в мясных лавках и тетерева, и рябцы, и зайцы, а в котором месте их стреляют, про то сидельцы не сказывают.

Милый дедушка, а когда у господ будет елка с гостинцами, возьми мне золоченый орех и в зеленый сундучок спрячь. Попроси у барышни Ольги Игнатьевны, скажи, для Ваньки».

Ванька судорожно вздохнул и опять уставился на окно. Он вспомнил, что за елкой для господ всегда ходил в лес дед и брал с собой внука. Веселое было время! И дед крикал, и мороз крикал, а глядя на них, и Ванька крикал. Бывало, прежде чем вырубить елку, дед выкуривает трубку, долго нюхает табак, посмеивается над озябшим Ванюшкой... Молодые елки, окутанные инеем, стоят неподвижно и ждут, которой из них помирать? Откуда ни возьмись по сугробам летит стрелой заяц... Дед не может, чтоб не крикнуть:

— Держи, держи... держи! Ах, куцый дьявол!

Срубленную елку дед тащил в господский дом, а там принимались убирать ее... Больше всех хлопотала барышня Ольга Игнатьевна, любимица Ваньки. Когда еще была жива Ванькина мать Пелагея и служила у господ в горничных, Ольга Игнатьевна кормила Ваньку леденцами, и от нечего делать выучила его читать, писать, считать до ста и даже танцевать кадрили. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спровадили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину...

«Приезжай, милый дедушка, — продолжал Ванька, — Христом-богом тебя молю, возьми меня отседа. Пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колотят и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу. А наемни хозяин колодкой по голове ударил, так что упал и

насилу очухался. Пропадающая моя жизнь, хуже собаки всякой... А еще кланяюсь Алене, кривому Егорке и кучеру, а гармонию мою никому не отдавай. Остаюсь твой внук Иван Жуков, милый дедушка, приезжай».

Ванька свернул четверо исписанный лист и вложил его в конверт, купленный накануне за копейку... Подумав немного, он умакнул перо и написал адрес:

На деревню дедушке

Потом почесался, подумал и прибавил: «Константину Макарычу». Довольный тем, что ему не помешали писать, он надел шапку и, не набрасывая на себя шубейки, прямо в рубахе выбежал на улицу...

Сидельцы из мясной лавки, которых он расспрашивал накануне, сказали ему, что письма опускаются в почтовые ящики, а из ящиков развозятся по всей земле на почтовых тройках с пьяными ямщиками и звонкими колокольцами. Ванька добежал до первого почтового ящика и сунул драгоценное письмо в щель... Убаюканный сладкими надеждами, он час спустя крепко спал... Ему снилась печка. На печи сидит дед, свесив босые ноги, и читает письмо кухаркам... Около печи ходит Вьюн и вертит хвостом...

1886

БЕЗЗАЩИТНОЕ СУЩЕСТВО

Как ни силен был ночью припадок подагры, как ни скрипели потом нервы, а Кистунов все-таки отправился утром на службу и своевременно начал приемку просителей и клиентов банка. Вид у него был томный, замученный, и говорил он еле-еле, чуть дыша, как умирающий.

— Что вам угодно? — обратился он к просительнице в допотопном салопе, очень похожей сзади на большого навозного жука.

— Изволите ли видеть, ваше превосходительство, — начала скороговоркой просительница, — муж мой, коллежский асессор Шукин, проболел пять месяцев, и, пока он, извините, лежал дома и лечился, ему без всякой причины отставку дали, ваше превосходительство, а когда я пошла за его жалованьем, они, изволите видеть, вычли из его жалованья 24 рубля 36 копеек! За что? — спрашиваю. — «А он, говорят, из то-

варищеской кассы брал, и за него другие чиновники ручались». Как же так? Нешто он мог без моего согласия брать? Это невозможно, ваше превосходительство. Да почему такое? Я женщина бедная, только и кормлюсь жильцами... Я слабая, беззащитная... От всех обиду терплю и ни от кого доброго слова не слышу...

Просительница заморгала глазами и полезла в салоп за платком. Кистунов взял от нее прошение и стал читать.

— Позвольте, как же это? — пожал он плечами. — Я ничего не понимаю. Очевидно, вы, сударыня, не туда попали. Ваша просьба по существу совсем к нам не относится. Вы потрудитесь обратиться в то ведомство, где служил ваш муж.

— И-и, батюшка, я в пяти местах уже была, и везде даже прошения не взяла! — сказала Щукина. — Я уж и голову потеряла, да спасибо, дай бог здоровья зятю Борису Матвейчу, надоумил к вам сходить. «Вы, говорит, мамаша, обратитесь к господину Кистунову: он влиятельный человек, для вас все может сделать»... Помогите, ваше превосходительство!

— Мы, госпожа Щукина, ничего не можем для вас сделать... Поймите вы: ваш муж, насколько я могу судить, служил по военно-медицинскому ведомству, а наше учреждение совершенно частное, коммерческое, у нас банк. Как не понять этого!

Кистунов еще раз пожал плечами и повернулся к господину в военной форме, с флюсом.

— Ваше превосходительство, — пропела жалобным голосом Щукина, — а что муж болен был, у меня докторское свидетельство есть! Вот оно, извольте поглядеть!

— Прекрасно, я верю вам, — сказал раздраженно Кистунов, — но, повторяю, это к нам не относится. Странно и даже смешно! Неужели ваш муж не знает, куда вам обращаться?

— Он, ваше превосходительство, у меня ничего не знает. Зарядил одно: «Не твое дело! Пошла вон!» — да и все тут... А чье же дело? Ведь на моей-то шее они сидят! На моей-ей!

Кистунов опять повернулся к Щукиной и стал объяснять ей разницу между ведомством военно-медицинским и частным банком. Та внимательно выслушала его, кивнула в знак согласия головой и сказала:

— Так, так, так... Понимаю, батюшка. В таком случае, ваше превосходительство, прикажите выдать мне хоть 15 рублей! Я согласна не все сразу.

— Уф! — вздохнул Кистунов, откидывая назад голову. — Вам не втолкуешь! Да поймите же, что обращаться к нам с подобной просьбой так же странно, как подавать прошение о разводе, например, в аптеку или в пробирную палатку. Вам недоплатили, но мы-то тут при чем?

— Ваше превосходительство, заставьте вечно бога молить, пожалейте меня, сироту, — заплакала Щукина. — Я женщина беззащитная, слабая... Замучилась до смерти... И с жильцами судись, и за мужа хлопочи, и по хозяйству бегай, а тут еще говею и зять без места... Только одна слава, что пью и ем, а сама еле на ногах стою... Всю ночь не спала.

Кистунов почувствовал сердцебиение. Сделав страдальческое лицо и прижав руку к сердцу, он опять начал объяснять Щукиной, но голос его оборвался...

— Нет, извините, я не могу с вами говорить, — сказал он и махнул рукой. — У меня даже голова закружилась. Вы и нам мешаете, и время понапрасну теряете. Уф!.. Алексей Николаич, — обратился он к одному из служащих, — объясните вы, пожалуйста, госпоже Щукиной!

Кистунов, обойдя всех просителей, отправился к себе в кабинет и подписал с десяток бумаг, а Алексей Николаич все еще возился со Щукиной. Сидя у себя в кабинете, Кистунов долго слышал два голоса: монотонный, сдержанный бас Алексея Николаича и плачущий, взвизгивающий голос Щукиной...

— Я женщина беззащитная, слабая, я женщина болезненная, — говорила Щукина. — На вид, может, я крепкая, а ежели разобрать, так во мне ни одной жилочки нет здоровой. Еле на ногах стою и аппетита решилась... Кофий сегодня пила, и без всякого удовольствия.

А Алексей Николаич объяснял ей разницу между ведомствами и сложную систему направления бумаг. Скоро он утомился, и его сменил бухгалтер.

— Удивительно противная баба! — возмущался Кистунов, нервно ломая пальцы и то и дело подходя к графину с водой. — Это идиотка, пробка! Меня замучила и их заездит, подлая! Уф... сердце бьется!

Через полчаса он позвонил. Явился Алексей Николаич.

— Что у вас там? — томно спросил Кистунов.

— Да никак не втолкуем, Петр Александрыч! Просто замутились. Мы ей про Фому, а она про Ерему...

— Я... я не могу ее голоса слышать... Заболел я... не выношу...

— Позвать швейцара, Петр Александрыч, пусть ее выведет.

— Нет, нет! — испугался Кистунов. — Она визг поднимет, а в этом доме много квартир, и про нас черт знает что могут подумать... Уж вы, голубчик, как-нибудь постарайтесь объяснить ей.

Через минуту опять послышалось гуденье Алексея Николаича. Прошло четверть часа, и на смену его басу зажужжал сиплый тенорок бухгалтера.

— За-ме-чательно подлая! — возмущался Кистунов, нервно вздрагивая плечами. — Глупа, как сивый мерин, черт бы ее взял. Кажется, у меня опять подагра разыгрывается... Опять мигрень...

В соседней комнате Алексей Николаич, выбившись из сил, наконец постучал пальцем по столу, потом себе по лбу.

— Одним словом, у вас на плечах не голова, — сказал он, — а вот что...

— Ну, нечего, нечего... — обиделась старуха. — Своей же не постучи... Скважина! Не очень-то рукам волю давай.

И, глядя на нее со злобой, с остервенением, точно желая проглотить ее, Алексей Николаич сказал тихим, придушенным голосом:

— Вон отсюда!

— Что-о? — взвизгнула вдруг Щукина. — Да как вы смее-те? Я женщина слабая, беззащитная, я не позволю! Мой муж коллежский асессор! Скважина этакая! Схожу к адвокату Дмитрию Карлычу, так от тебя звания не останется! Твоих жильцов засудила, а за твои дерзкие слова ты у меня в ногах навалеешься! Я до вашего генерала пойду! Ваше превосходительство! Ваше превосходительство!

— Пошла вон отсюда, язва! — прошипел Алексей Николаич.

Кистунов отворил дверь и выглянул в присутствие.

— Что такое? — спросил он плачущим голосом.

Щукина, красная как рак, стояла среди комнаты и, вращая глазами, тыкала в воздух пальцами. Служащие в банке